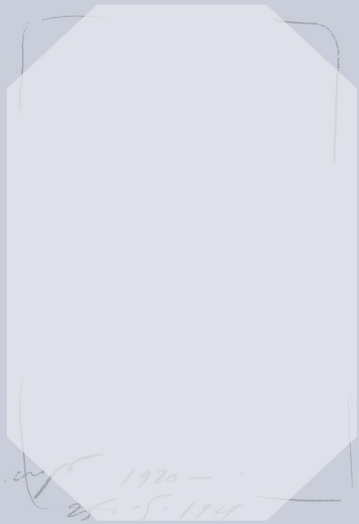
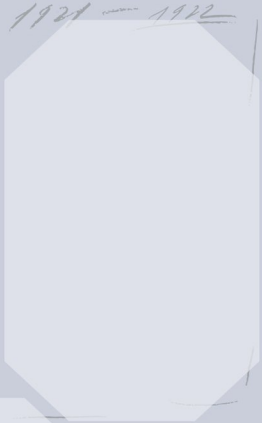
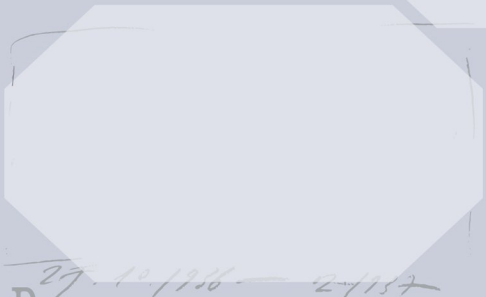
Мемуарный клуб







Вирджиния Вулф

Мемуарный клуб
Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. Мемуарный клуб
Заметка от переводчика
Гайд-парк-гейт, 22
Старый Блумсбери
Сноб ли я?
Аннотированный именной указатель

Аннотация

Три автобиографических очерка (1921, 1922, 1936), написанные Вирджинией Вулф (1882–1941) для заседаний Мемуарного клуба – домашних ужинов в кругу близких друзей, на котором каждый из участников «Старого Блумсбери» поочередно откровенничал о своем прошлом, – представляют собой остроумные, при этом не лишенные глубины зарисовки семейной и общественной жизни эдвардианской эпохи и интроспекции межвоенного времени английской писательницы. Изначально не рассчитанные на публикацию, они вышли в свет только в 1976 году, встав в один ряд с ее знаменитыми романами и эссе. Вулф тонко смешивает личное и общественное, благопристойное и откровенное, глубинное и поверхностное, желаемое и действительное, болезненное и жизнеутверждающее, обещая «воскресить в памяти ряд своих воспоминаний, а заодно пробудить и кое-какие ваши».

Вирджиния Вулф
Мемуарный клуб

Virginia Woolf
The Memoir Club Contributions
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Заметка от переводчика

Три представленных здесь эссе Вирджинии Вулф (1882–1941) были написаны для так называемого Мемуарного клуба[1], вновь объединившего в марте 1920 года тринадцать участников «Старого Блумсбери» после Первой мировой войны: Ванессу и Клайва Белла, Леонарда и Вирджинию Вулф, Дезмонда и Молли Маккарти, Адриана Стивена, Мейнарда Кейнса, Э. М. Форстера, Роджера Фрая, Дункана Гранта, Саксона Сидни-Тёрнера и Литтона Стрэйчи. Друзья периодически собирались на ужин и читали друг другу свои воспоминания. С самого начала они договорились быть абсолютно откровенными, но, как предупреждал Леонард Вулф, «даже в кругу самых близких людей абсолютная откровенность

[1] Примечания: 1

Мемуарный клуб, как и его предшественник, Клуб романов, был придуман писательницей Мэри (Молли) Маккарти в надежде привлечь ее мужа, писателя и критика Дезмонда Маккарти, к занятию чем-то помимо журналистики. Члены Клуба планировали каждый месяц собираться и читать по главе из того, что могло бы стать полноценной автобиографией. Замысел оказался чрезмерно амбициозным, поэтому взносы и частота встреч были уменьшены. — *Здесь и далее примеч. пер.*

весьма относительна»[2], и в каждом из трех своих текстов Вирджиния, кажется, лишь «играет с аудиторией»[3]: она честна, но не откровенна; эмоциональна, но не сентиментальна; умна, но несерьезна; изящно поверхностна, но вдумчива и проницательна.

В первом эссе писательница возвращается к своему детству в викторианском доме на Гайд-парк-гейт, где прошли ее ранние годы под опекой отца и старших единоутробных братьев и сестер в атмосфере строгих порядков и семейных драм, которые разыгрывались за дверями гостиной дома Стивенов. Написанный почти за двадцать лет до ее мемуаров «Зарисовка прошлого» (1940), этот очерк фактически продолжает повествование о семье Стивенов с того же момента, на котором Вирджиния остановилась в «Зарисовке», то есть после смерти единоутробной сестры Стеллы, но до смерти ее отца в 1904 году и переезда Стивенов в Блумсбери. По-видимому, очерк был представлен Мемуарному клубу в период между его

[2] Примечания: 2

Schulkind J. Editor's Note // V. Woolf. Moments of Being. 2nd ed. London, 2002. P. 204. Редактор Джинн Шулькинд работала с рукописями Вулф, подготовив их к первой публикации в 1976 году. Эта заметка опирается на ее материалы.

[3] Примечания: 3

Ibid.

созданием в марте 1920 года и 25 мая 1921 года. Существует два его машинописных черновика. Первый состоит из двадцати одной страницы, пронумерованных вразнобой, и содержит большое количество рукописных исправлений Вулф. Во втором, пятнадцатистраничном, новые правки отсутствуют, но учтены все предшествующие. Опубликованный здесь вариант очерка полностью воспроизводит второй черновик, а там, где он заканчивается, следует тексту первого.

Второе эссе, «Старый Блумсбери», переносит читателя в начало XX века, когда после смерти отца семья Стивенов переехала в район Блумсбери. Здесь Вулф описывает зарождение легендарного Блумсберийского кружка — свободолюбивой творческой среды, где она и ее сестра ощутили вкус к интеллектуальной независимости и отказались от условностей викторианского прошлого. Написанный в конце 1921 или начале 1922 года, вскоре после «Гайд-парк-гейт, 22», этот очерк продолжает повествование предыдущего, сразу переходя к жизни в доме 46 по Гордон-сквер. Вулф анализирует истоки «Старого Блумсбери» с позиции человека, выросшего на Гайд-парк-гейт. Ее текст во многом отличается от воспоминаний тех участников, которые получили кембридж-

ское образование еще до переезда в Блумсбери[4]; в свою очередь, истории кембриджских «апостолов» отличаются от рассказов тех (например, Клайва Белла[5]), кто не принадлежал к их кругу. Многочисленные версии о том, где и когда возник знаменитый «Блумсбери» — начался ли он в Кембридже с «Полуночного общества» или с «Апостолов» в 1899-м, с *четверговых вечеров* на Гордон-сквер в 1905-м или же непосредственно в районе Блумсбери в 1912 году, как полагал Леонард Вулф, — еще раз подчеркивают расплывчатость границ этого круга.

Наконец, в последнем эссе писательница исследует свое отношение к социальным привилегиям и классовым предрассудкам. Очерк «Сноб ли я?» был прочитан членам Мемуарного клуба в период между 27 октября 1936 года — датой последнего визита Вулф к Сивилле Коулфакс в Аргайл-хаус — и февралем следующего года. Машинописный черновик данного очерка, с чернильными и карандашными правками, состоит из тридцати двух листов разного формата, склеенных в бро-

---

[4] Примечания: 4

См.: *Rosenbaum S. P.* The Bloomsbury Group: A Collection of Memoirs and Commentary. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1975.

[5] Примечания: 5

Bell C. Old Friends: Personal Recollections. London: Chatto, 1956.

шюру. Письма Марго Асквит (леди Оксфорд) и Сивиллы Коулфакс, включенные в текст, по-видимому, представляют собой вольный пересказ оригиналов.

Вместе эти три текста представляют своеобразную трилогию «моментов бытия» Вирджинии, и их можно рассматривать как наброски к ее поздним мемуарам. В очерках, рассчитанных на узкий круг близких друзей, Вулф позволила себе затронуть и болезненные пласты личного опыта, о которых почти не говорила публично, ни даже в дневниках. В «Гайд-парк-гейт, 22» Вирджиния фактически намекает на факт сексуального насилия, пережитого ею в юности со стороны брата. Однако не стоит ждать мрачной исповеди — Вулф выдерживает баланс между глубокой эмоциональностью и тонкой иронией, ее слог отличает характерная легкость и игривость тона. Мемуарные очерки насыщены яркими бытовыми зарисовками, сменой настроений и голосов, тонкими психологическими наблюдениями. Будучи ценным биографическим источником, живым свидетельством эпохи и внутреннего мира писательницы, очерки Мемуарного клуба не уступают в художественной силе ее известным романам и эссе.

Александр Русинов

Гайд-парк-гейт, 22

Как я уже говорила, гостиная в доме на Гайд-парк-гейт была разделена черными складными дверьми с тонкими малиново-красными линиями. Мы всё еще находились под сильным влиянием Тициана. Обилие плюша, портреты Уоттса, бюсты в нишах, обитых малиново-красным бархатом, только усиливали мрачность помещения, которое и без того было достаточно темным, а летом оно еще и затенялось каскадами девичьего винограда.

Но я хочу рассказать именно о складных дверях. Как семья из девяти мужчин и женщин, одна из которых к тому же была умственно отсталой[6], могла обходиться без таких дверей? Это всё равно что жить без ванной или туалета. Кризисы случались постоянно: увольняли слугу, кому-то разбивали сердце, проверялись бухгалтерские книги, или бедная миссис Тиндалл, по ошибке отравившая мужа, приходила за утешением. По одну сторону двери могла стоять на коленях

[6] Примечания: 6

Лора Стивен бóльшую часть своей жизни провела в заведении для душевнобольных.

кузина Аделина [Рассел], герцогиня Бедфордская — ее герцог трагически погиб в Уоберне[7]; миссис Долмеч рассказывала, как застала мужа в постели с горничной; Лиза Стиллман рыдала, что Уолтер Хедлам измазал ей нос мелком для бильярдного кия — «вот что бывает, когда куришь трубку с джентльменами», — и моей матери стоило немалых усилий убедить ее, что жизнь продолжается и что ее девичья невинность от этого ничуть не пострадала.

И хотя по одну сторону дверей было темно и тревожно, по другую, особенно по воскресеньям после обеда, было довольно весело. Там, за овальным чайным столиком с фарфоровой розовой вазочкой, полной пряных булочек, можно было послушать рассказы старого генерала Бидла о мятеже в Индии или мистера Холдейна, или сэра Фредерика Поллока, говорившего обо всем на свете, или старика Ч. Б. Кларка, чьим именем названы три чрезвычайно редких гималайских папоротника, или профессора Вулстенхолма, у которого, если его перебить, из ноздрей мог прыснуть чай с изюмом, после чего он снова погружался в глубокую дремоту — результат упо-

[7] Примечания: 7

На самом деле 10-й герцог Бедфордский умер от диабета в Лондоне, а не в Уоберне.

требления веществ, к которым он пристрастился из-за несчастливого брака и безвременной кончины сына Оливера, съеденного акулой где-то у Коромандельского берега. Все эти джентльмены постоянно бывали у нас в гостях, и к ним часто присоединялся былой наставник принца Уэльского — мистер Фредерик Гиббс, чья невозмутимая рассудительность и обширные познания о колониях в целом и Канаде в частности вечно раздражали моего отца, который всегда гадал, не повлияла ли каким-то образом на Гиббса мозговая лихорадка, перенесенная им еще в колледже в 1863 году. Обычно эти пожилые джентльмены ели медленно, засиживались допоздна и, насколько я помню, старались порадовать нас на Рождество любопытными подарками: индийским серебром и сумочками из кожи утконоса.

Однако за чайным столиком собирались и ослепительно красивые женщины: три мисс Лашингтон, три мисс Стиллман и три мисс Монтгомери — три тройки восхитительных женщин, но из всех образцом остроумия, грации, обаяния и утонченности, несомненно, была Китти Лашингтон, ныне миссис Лео Макс[8]. (Их помолвка под

[8] Примечания: 8

Позже Вулф писала, что Китти отчасти послужила прообразом для миссис Дэллоуэй.

клематисом Жакмана в «уголке любви» стала для меня первым опытом знакомства с настоящей страстью.) В то время, о котором я рассказываю, Китти как раз разрывала помолвку с лордом Морпетом и, я подозреваю, была вынуждена объяснять моей матери, строгой и взыскательной в таких вопросах, почему она сперва согласилась выйти за него, а потом передумала. Моя мать верила, что мужчины нуждаются в бесконечной заботе, и я уверена, что всю вину она возложила на Китти. Во всяком случае, перед глазами у меня стоит Китти, выходящая из потайной створки складных дверей с двумя идеально грушевидными, кристально прозрачными слезами на нежных розовых щеках. Они не падали и нисколько не затмевали блеска ее глаз, и Китти тут же стала душой компании за чайным столиком — возможно, там сидел Лео Макс, Ронни Норман, Эсме Говард или Артур Стадд, ведь не все джентльмены были пожилыми людьми или профессорами. И когда мой отец, громко вздыхая, но вполне отчетливо произнес: «О Гиббс, какой же ты зануда!» — моя мать тут же бросила в бой именно Китти. «Она хочет тебе сказать, как ей понравилась твоя лекция», — воскликнула она, и Китти, всё еще со слезами на щеках, с величайшей любезностью и

находчивостью сымпровизировала комплимент и сменила тему, успокоив тем самым отца, который был чрезвычайно чувствителен к женскому обаянию и во многом зависел от женской похвалы. Раскаявшись в своем раздражении, отец тепло пожал руку бедняги Гиббса и попросил его приезжать почаще, что, разумеется, бедняга Гиббс и делал.

Затем в гостиную, пританцовывая, потирая руки и морща лоб, входил, как мне иногда кажется, наиболее примечательный член нашей семьи. Я уже упоминала жуткий пережиток былой эпохи, который мы порой доставали из детского шкафа, — парик Герберта Дакворта (он был барристером). Однако сына Герберта — Джорджа Герберта — жутким уж точно не назовешь. Его темные волосы от природы вились кудрями; он был шесть футов ростом, входил в крикетную команду Итонского колледжа и в то время посещал подготовительные курсы мистера Скоунса, готовясь к экзаменам в Министерство иностранных дел. Когда мисс Уиллетт из Брайтона увидела, как он «сбрасывает с себя пальто» посреди ее гостиной, она была так вдохновлена, что написала оду, в которой сравнила Джорджа Дакворта с Гермесом Олимпийским. Эту оду моя мать хранила в

ящике своего письменного стола вместе с небольшой итальянской медалью, которую Джордж получил за спасение утопающего крестьянина. Да, он напомнил мисс Уиллетт Гермеса, но, если приглядеться к нему внимательнее, можно заметить, что одно ухо у него заостренное, а другое округлое, и вдобавок к этим божественным кудрям и ушам фавна прилагаются поросячьи глазки. Странное и очень редкое сочетание. Но в те дни, о которых я рассказываю, Бог, фавн и свинья соединились в одном человеке, всё время пребывая в противоречии и порождая тем самым удивительные вспышки эмоций.

Начнем с Бога. Что ж, возможно, он был всего лишь гипсовой копией Гермеса мисс Уиллетт, но я не стану отрицать, что в благодушной фигуре Джорджа Дакворта, который часами, стоя на кокосовой циновке, учил своих младших единоутробных братьев и сестер отбивать мяч идеально прямым ударом крикетной биты, действительно было нечто христоподобное. Его божественность была скорее христианской, нежели языческой, ибо вскоре стало ясно, что этот особый прямой удар, которым он требовал отбивать любую подачу без исключения, являлся символом моральной праведности и что нельзя

просто махать битой или хитрить, не посягая тем самым на идеалы спортсмена и английского джентльмена (как это делал бедняга Джеральд Дакворт). Джордж мог пробежать не одну милю, просто чтобы принести нам подушки; он всегда закрывал двери и открывал окна; именно он проявлял тактичность, сообщая плохие новости, мужественно терпел раздражение моего отца, читал нам вслух, когда мы болели коклюшем, помнил о днях рождения всех тетушек, посылал черепаховый суп больным, ходил на похороны, водил детей на пантомиму… О да, что ни говори, Джордж определенно был святым.

Но был еще фавн. Это существо казалось одновременно игривым и показушным, из-за чего часто вступало в противоречие с самоотверженной натурой Бога. Было совершенно обычным делом зайти в гостиную и застать Джорджа на коленях с распростертыми руками, обращающимся со словами страстного обожания к моей матери, которая в тот момент могла, например, сводить бухгалтерские счета. Допустим, Джордж провел выходные у Чемберленов, но вел себя так, будто сорок лет прожил в австралийской глуши и наконец-то вернулся в родной дом, где его ждала престарелая матушка. Испытывая неловкость

и одновременно любопытство, мы, домочадцы, собирались вокруг Джорджа, хотя обеденный колокольчик уже прозвенел. Нам казалось, что немногие семьи могли бы похвастаться подобной сценой. При этом он столь же легко и эмоционально мог расплакаться. Например, когда ему вырвали зуб, он, рыдая, бросился в объятия кухарки. Когда Джудит Блант отказала ему, Джордж сидел во главе стола, громко рыдая, но продолжая есть. Он плакал, когда его прививали. Свои телеграммы он любил начинать словами «Моя дорогая матушка», хотя в итоге всего лишь сообщал, что не приедет к ужину. (К сожалению, я решила подражать его стилю, и это привело к плачевным результатам в одной известной ситуации. «Она просто душка», — телеграфировала я, подписавшись своим прозвищем «Козочка», когда узнала, что Флора Рассел приняла его предложение. «Она просто душная Коза» — вот какая телеграмма пришла на Айлей[9], и, по словам Джорджа, именно поэтому Флора отказалась иметь какие-либо дела с семьей Стивен.) Однако все эти эмоциональные порывы считались достоинством Джорджа. Они якобы доказывали

[9] Примечания: 9

Самый южный остров в составе Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии.

не только глубину и силу его чувств, но и то, что он сумел сохранить открытое сердце и детскую непосредственность.

Но когда природа отказала ему в двух заостренных ушах и дала только одно, она, я полагаю, знала, что делает. Даже в самых бурных приступах эмоций, когда Джордж ревел от горя или скакал по комнате, как ребенок, или падал на колени перед вдовствующей леди Карнарвон, в его поведении всегда чувствовались смущение и неуверенность, словно он не до конца понимал, какое впечатление производит, — будто за образом игривого фавна скрывалась лишь старая заурядная и робкая старая овца.

По правде говоря, Джордж был необычайно глуп. Даже самые простые экзамены давались ему с невероятным трудом. Годами мистер Скоунс пытался натаскать Джорджа, но тот раз за разом проваливался на экзаменах в Министерство иностранных дел. Всю свою жизнь он держался на должностях, которые подыскивали ему друзья. Казалось, его маленькие карие глаза вечно пытались постичь нечто слишком сложное. Но когда говорят, что у Джорджа поросячьи глазки, то имеют в виду не только их глупое или жадное выражение — Джордж, как мне рассказывали,

прослыл на лондонских балах отъявленным скупердяем, — но и некое упрямство, настойчивость, словно этот поросенок рыл землю в поисках трюфелей и только благодаря упорству добивался своего. Никогда не забуду, с каким упорством он учил наизусть «Любовь в долине»[10], чтобы произвести впечатление на Флору Рассел, и с какой решимостью осилил первый том «Мидлмарча»[11] с той же целью; с каким облегчением он обнаружил, что забыл второй том в поезде, а позже заставил моего отца, чья библиотека пострадала от этой забывчивости, заявить, что, по его мнению, первого тома вполне достаточно. Если бы упрямство Джорджа было направлено исключительно на самосовершенствование, нам было бы не на что жаловаться. Я и сама могла бы помочь ему в этом, но постепенно стало ясно, что он разрабатывал какую-то сложную схему, стратегию, жизненный план — я даже не знаю, как это назвать, — и тогда мы почувствовали, как земля уходит из-под ног, а небеса меркнут. После смерти матери Джордж Дакворт фактически стал главой семьи. Мой отец был глух, эксцен-

[10] Примечания: 10
10) Поэма Джорджа Мередита.

[11] Примечания: 11
Роман Джордж Элиот.

тричен, поглощен своей работой и оторван от мира. Управление всеми делами семьи легло на плечи Джорджа. Обычно говорили, что он был матерью и отцом, сестрой и братом в одном лице, и все пожилые дамы Кенсингтона и Белгравии в один голос утверждали, что Небеса предельно благосклонны к бедным девочкам Стивен и что им осталось лишь показать себя достойными такого благословения.

Но о чем думал Джордж Дакворт и что настораживало в его виде, когда он сидел в красном кожаном кресле после ужина, поглаживая таксу по кличке Шустер и угрюмо листая книгу Джордж Элиот? Что ж, возможно, он думал о гербе на почтовом бланке и о том, как красиво тот смотрелся бы в красном цвете (тогда Джордж уже был личным секретарем Остина Чемберлена); или о том, почему герцогиня Сент-Олбанс больше не пользуется ножами для рыбы; или о том, как миссис Гренфелл пригласила его погостить, а он, как ему казалось, произвел хорошее впечатление, отказавшись. В то же время в его голове медленно складывались обстоятельные планы: чем нас порадовать; когда устроить нам уроки верховой езды; как найти работу для множества обездоленных детей бедной Августы Крофт. Одна-

ко настораживало то, что он выглядел не просто растерянным или задумчивым, а упрямым. Казалось, он принял какое-то решение и ни на йоту не уступит. Тогда было чрезвычайно трудно понять, что́ именно он решил, но по прошествии многих лет, я полагаю, можно без обиняков сказать: он задумал подняться по социальной лестнице. У него было странное врожденное почтение к британской аристократии. Красота наших двоюродных тетушек, пожалуй, действительно породнила нас в середине XIX века с двумя герцогами и множеством графов и графинь. Конечно, они не стремились вспоминать об этих узах, но Джордж делал всё, чтобы им соответствовать. Его благоговение перед символами величия только усилилось, когда он стал работать при кабинете министров. Все его разговоры сводились к пуговицам из слоновой кости, которые носили кучера министров; к придворным приемам; к баронским титулам, передаваемым по женской линии; к графиням, прячущим бриллианты Марии-Антуанетты в черных шкатулках под кроватями. Когда он сидел в красном кожаном кресле, поглаживая Шустера, его тайные мечты сводились к тому, чтобы жениться на женщине с бриллиантами, иметь кучера с пуговицами из слоновой кости и

бывать при дворе. Но проблема заключалась в том, что он даже себе не признавался в этих мечтах. Если бы кто-то сказал ему — кажется, Ванесса однажды так и сказала, — что он сноб, Джордж бы разрыдался. Ему, объяснял он, нравилось знакомиться с «приятными людьми», коими были леди Джун, леди Слайго, леди Карнарвон и леди Лэйтрим. Бедняжка миссис Клиффорд была не из их числа, как, впрочем, и старик Вулстенхолм. Из всех наших старых знакомых ближе всего к идеалу подходила именно Китти Макс, которая едва не стала леди Морпет. Дело было не в происхождении или богатстве, а в том, что, если бы вы надавили на него, он бы заключил вас в объятия и заявил, что не желает спорить с теми, кого любит. «Целуй меня, целуй, моя любимая», — умолял бы он, и спор утонул бы в поцелуях. В них утопало всё. Он жил одурманенный эмоциями, и, когда его страсти разгорались, а желания становились неистовыми — Джек Хиллз уверял меня, что до свадьбы Джордж хранил целомудрие, — я чувствовала себя несчастной мелюзгой, оказавшейся в одном аквариуме с неуклюжим и буйным китом.

Ничто не мешало его продвижению по службе. В свои тридцать лет Джордж был холостяком

приятной наружности, хотя и склонным к полноте, с независимым доходом более тысячи фунтов в год. Как личного секретаря Остина Чемберлена его, само собой разумеется, приглашали на все пышные светские приемы у самых знатных пэров. Хозяйкам вечера недосуг было вспоминать, если они вообще это знали, что Дакворты сколотили состояние на хлопке или угле менее ста лет назад и на самом деле не принадлежали, как утверждал Джордж, к древнему сомерсетширскому роду. Мне достоверно известно, что, когда первый Дакворт[12] приобрел поместье Орчардли около 1810 года, он уставил дом гипсовыми копиями греческих статуй, прикрыв наготу богов фиговыми листьями, а богинь — фартуками, что безмерно забавляло лордов Лонглита, которые никогда не забывали, что старик Дакворт торговал хлопчатобумажными тканями и, вероятно, купил эти фартуки задешево. Джордж, повторюсь, мог бы и сам легко выбиться в верхушку лондонского общества. Его каминная полка была сплошь заставлена приглашениями из лучших домов Лондона. Почему же он решил обременить

[12] Примечания: 12

По имеющимся сведениям, дед Джорджа, Уильям Дакворт (1795–1876), купил Орчардли только в 1855 году, снес старый дом и в 1856 году построил новый, см.: https://www.orchardleigh.net/history.

себя парой сестер, которые, скорее всего, только тянули его вниз? Вряд ли имело смысл спрашивать об этом. Его мысли бурлили, как котел с наваристым ирландским рагу. Джордж верил, что аристократическое общество воплощает все мыслимые добродетели; что семья вверена его заботе; что таков его священный долг — но стоило дойти до этой мысли, как его захлестывали эмоции: он начинал рыдать, падал на колени, обнимал Ванессу и умолял ее во имя матери, бабушки и всего святого, что есть в женщинах и традициях нашей семьи, принять приглашение леди Артур Рассел на ужин и провести выходные у Чемберленов в Хайбери-холле.

Не могу не отметить, что, на мой взгляд, Ванесса сама была в этом виновата, хотя и не могла ничего изменить. Иногда мне кажется, что, если бы сестра родилась горбатой, хромой, косой и с большой родинкой на щеке, наша с ней жизнь сложилась бы куда лучше, а так здравый смысл был на стороне Джорджа. Несомненно, Ванесса в белом атласном платье от [портнихи] миссис Янг, с одним-единственным безупречным аметистом на шее и голубой эмалевой бабочкой в волосах — разумеется, всё это были подарки Джорджа — выглядела очень трогательно. Краси-

вая восемнадцатилетняя девушка, лишившаяся матери, она была настоящим украшением любого ужина и потенциальной женой пэра. Из столь драгоценного материала, по крайней мере внешне, можно было вылепить что угодно. И то, что вокруг нее вился единоутробный брат, который одаривал ее драгоценностями, арабскими скакунами и дорогой одеждой, шептал слова поддержки, обнимал (порой в присутствии посторонних), делало честь самому Джорджу, придавая его образу налет трагизма в глазах вдов Мэйфэйра. К сожалению, внешность Ванессы не вполне соответствовала ее внутреннему содержанию. Под ожерельями и эмалевыми брошками скрывалось всего одно страстное желание — краски и скипидар, скипидар и краски. Но бедняга Джордж не знал психологии и не интересовался внутренним миром. Он был в полном смятении, когда Ванесса заявила, что не хочет ни гостить у Чемберленов в Хайбери, ни ужинать с леди Артур Рассел — грубой, деспотичной старухой с кровожадным видом и манерами индюка. Он спорил, плакал, жаловался тете Мэри Фишер, которая сказала, что не верит своим ушам. Все силы были брошены на Ванессу. Ей твердили, что она эгоистична, неженственна, черства и возму-

тительно неблагодарна, учитывая проявленные к ней знаки любви — подарки в виде арабского скакуна, на котором она училась верховой езде, и украшений из ярко-синей эмали, которые она носила[13]. И всё же сестра упорствовала. Она не хотела ужинать с леди Рассел. Светский сезон подходил к концу; каждое утро мистер Дакворт и мисс Стивен получали приглашения, и каждый вечер между ними вспыхивал спор. В течение первого года Джордж, полагаю, обычно одерживал победу. Они садились в экипаж и уезжали, а поздно вечером Ванесса приходила ко мне в комнату и жаловалась, что ее таскают с одной вечеринки на другую, где она никого не знает, и что ей до смерти надоели любезности чинуш из Министерства иностранных дел и снисходительность титулованных старух. Чем больше Ванесса сопротивлялась, тем сильнее проявлялось врожденное упрямство Джорджа. Наконец наступил кризис. По четвергам леди Артур Рассел устраивала званые ужины на Саут-Одли-стрит. Однажды Ванесса просидела весь вечер, не проронив ни слова. Джордж настаивал, что она должна пойти с ним на следующей неделе и загладить вину,

---

[13] Примечания: 13
Здесь заканчивается один черновик и начинается другой.

иначе, по его словам, «леди Артур больше никогда тебя не пригласит». Они спорили до тех пор, пока не стало слишком поздно переодеваться. В конце концов Ванесса, скорее от отчаяния, чем из уступки, бросилась наверх, поспешно оделась и объявила, что готова. Они уехали. Мы никогда не узнаем, что произошло в кебе, но всякий раз, когда они подъезжали к дому 2 по Саут-Одли-стрит — а за вечер это случилось несколько раз, — то один, то другой отказывался выходить. Джордж не хотел появляться с разгоряченной Ванессой, а она — с зареванным Джорджем. Извозчику пришлось несколько раз объехать парк. Удалось ли им в итоге войти в дом, я не знаю.

Однако на следующее утро, когда я сидела и занималась греческим, в мою комнату вошел Джордж, держа в руках маленькую бархатную коробочку. Он подарил мне украшение — эмалевый варган[14] с розоватым качающимся шариком на язычке. Увы, на днях я продала его за несколько шиллингов. Но было очевидно, что он пришел не просто оказать внимание. Его лицо выглядело болезненно-желтоватым, испещренным морщинами. Своей рыхлой кожей Джордж напоминал

---

[14] Примечания: 14
Небольшой язычковый музыкальный инструмент.

мопса, а выражать страдания он умел самым пронзительным образом: всякий раз, когда его что-то тревожило, лицо Джорджа морщилось, собираясь в бесчисленные складки и заломы от лба до подбородка. Его манеры были вычурными, а осанка — напряженной. Если бы в тот момент его увидела мисс Уиллетт из Брайтона, она бы непременно сравнила его с распятым Христом. Подарив мне варган, Джордж молча встал у камина, а затем, как я и ожидала, начал рассказывать мне свою версию событий прошедшего вечера, хмуря лоб сильнее обычного, говоря сурово, но с горечью. Он заявил, что никогда больше не попросит Ванессу сопровождать его. Он увидел в ее глазах нечто такое, что его по-настоящему напугало. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы кто-то сказал, будто он заставил сестру сделать то, чего она не хотела. Тут он вздрогнул, но взял себя в руки. Затем продолжил: мол, он делал лишь то, что, как ему казалось, хотела бы наша мать, и никого дороже двух единоутробных сестер у него не осталось. Семья всегда значила для него больше, чем он мог выразить словами. Тут он разволновался, попытался сохранить самообладание, а потом разразился мрачным и даже зловещим заявлением: что мы изгоняем

Джеральда из дома… что когда молодой человек несчастлив дома… что сам он, конечно, всем доволен, но если сестры… если Ванесса отказывается выходить с ним в свет, если он не может приводить в дом друзей, — и, короче говоря, стало ясно, что благочестивому и целомудренному Джорджу Дакворту придется искать утешения у женщин легкого поведения. Разумеется, он не сказал этого прямо, но я со своим невинным умом, лишь смутно просвещенным чтением платонова «Пира» с мисс Кейс, представила себе ужасные грехи, в которые могут впасть молодые люди, если сестры не делают их счастливыми. Так мы проговорили час или два. В конце концов он стал меня умолять, и я согласилась пойти с ним через несколько дней на бал к вдовствующей маркизе Слайго. Я уже бывала на майском балу в Кембридже, и воспоминания о том, как я скакала галопом по залу с Хоутри или сидела на лестнице, обсуждая танцующих с Клайвом, заставляли меня удивляться, почему Ванесса так ненавидит лондонские балы. Через несколько дней я всё поняла. После двух часов, проведенных в бальном зале леди Слайго; бесконечного ожидания, когда меня представят незнакомым молодым людям; танцев с Конрадом Расселом или Эсме Говардом, во время которых

я постоянно сбивалась с ритма; неловкости от отсутствия партнеров и замечания Джорджа о том, что выгляжу я прекрасно, но спину надо держать ровнее, — я сбежала в какую-то комнату и спряталась за занавеской, надеясь, что меня не заметят. Какое-то время так и было, но в конце концов старая леди Слайго нашла меня, поняла, в чем дело, и, будучи добросердечной старушкой с румяным лицом, отвела меня в столовую, отрезала большой кусок торта с глазурью и оставила есть его в одиночестве.

В тот раз Джордж был снисходителен. Мы уехали около двух часов ночи, и по пути домой он горячо хвалил меня, уверяя, что для большего успеха в обществе мне нужно лишь немного практики. Через несколько дней он сообщил, что вдовствующая графиня Карнарвон очень хочет познакомиться со мной и приглашает на ужин. Пока мы ехали через парк, Джордж поглаживал мою руку и говорил о своих надеждах на то, что я подружусь с Элси — какое-то время назад она сама попросила его и Ванессу называть ее по имени. Он уверял, что мне нечего бояться, мол, хотя графиня Карнарвон и была вице-королевой Канады и Ирландии, но в действительности она сама простота и после смерти мужа носит исключительно

траур, отказывается надевать украшения, хотя унаследовала бриллианты Марии-Антуанетты, а еще он сказал, что она единственная женщина, обладающая мужским чувством чести. Образ, который он нарисовал, сочетал величие и глубокую скорбь. Джордж добавил, что на ужине будет и ее сестра, миссис Попхэм из Литтлкот-хауса — тоже знатная дама, пережившая утрату, ведь ее муж, Дик Попхэм из Литтлкота[15], происходил из древнего несчастного рода, проклятого еще во времена Генриха VIII, и с тех пор поместье никогда не переходило от отца к сыну. Разумеется, Мэри Попхэм была бездетна, а Дик находился в сумасшедшем доме. Я ощущала, что приближаюсь к дому, исполненному величия и запустения, и была весьма впечатлена. Однако ни в самой Элси Карнарвон, ни в миссис Попхэм из Литтлкота я не обнаружила ничего особенного. Это были две худощавые чопорные женщины, скромно одетые в длинные черные платья, с седыми волосами, зачесанными назад, выразительными голубыми глазами и слегка выступающими передними зубами. Мы сели ужинать.

---

[15] Примечания: 15

Вероятно, речь идет о Мод Изабель Попхэм и ее муже Фрэнсисе Уильяме Лейборн-Попхэме, и Вулф ошибается, называя их Мэри и Диком. Литтлкот-хаус — роскошное поместье в Уилтшире.

Беседа была спокойной и доброжелательной, и вскоре я поняла, что могу не просто односложно отвечать на их вопросы: нравится ли мне рисовать? люблю ли я читать? помогаю ли отцу в его работе? — но и делать собственные замечания. Джордж всегда жаловался на молчаливость Ванессы, а я хотела доказать, что умею говорить. И начала. Не знаю, какой черт дернул меня за язык и почему именно перед леди Карнарвон и миссис Попхэм из Литтлкота — людьми, пожалуй, менее всего подходящими для этого, — я, восемнадцатилетняя девчонка, решила порассуждать о необходимости выражать эмоции! Я назвала это главной проблемой современности. Сказала, что древние люди обсуждали друг с другом всё. Спросила леди Карнарвон, читала ли она диалоги Платона? «Мы, мужчины и женщины…» — начала я и уже не могла остановиться, уверенная, что моя смелость приковала их внимание. Я чувствовала, что зарабатываю благодарность Джорджа на всю жизнь, как вдруг сидевшую рядом графиню сотрясли весьма выразительные подергивания, дрожь, судороги. Бриллианты, которых у нее было ровно столько, чтобы подчеркнуть добродетельность, ослепительно сверкнули у меня перед глазами. Я запнулась, посмотрела через

стол и увидела красного, как помидор, Джорджа. И поняла, что проявила немыслимую бестактность. Леди Карнарвон и миссис Попхэм тут же перевели разговор на другую тему, а когда ужин закончился, Джордж, делая вид, что помогает мне надеть плащ, в ужасе прошептал: «Они не привыкли, чтобы девушки хоть что-то говорили…» А потом, словно извиняясь за мое дурное воспитание, он отвел леди Карнарвон за колонну в холле. И хотя миссис Попхэм из Литтлкота пыталась отвлечь меня разговором о прекрасном образце мавританской работы по металлу, висевшем на стене, мы обе отчетливо услышали их поцелуй. Однако вечер на этом не закончился. Леди Карнарвон купила билеты на какой-то спектакль французской труппы, название которого я не вспомню. Конечно, у нас были места в партере, и мы чинно заняли их в самом центре полного зала. Поднялся занавес. Обиженная, смущенная, возмущенная, я едва следила за происходящим на сцене. Но спустя какое-то время я заметила, что леди Карнарвон и миссис Попхэм, сидевших по обе стороны от меня, снова пробила дрожь — точно так же, как за ужином. В чем дело? Они ерзали в креслах и корчились. Я перевела взгляд на сцену. Герой и героиня фонтанировали пото-

ками французской речи, и я не могла разобрать ни слова. Потом они замолчали. К моему изумлению, дама вдруг перепрыгнула через спинку дивана, а джентльмен бросился за ней. Они носились по сцене — дама визжала, а мужчина хрипло стонал и пыхтел, преследуя ее. Это была великолепная реалистичная игра. В течение всей погони сидевшие рядом дамы буквально вцепились в подлокотники кресел мертвой хваткой. В конце концов актриса, обессилев, рухнула на диван, а мужчина с победным воплем и в уже явно расстегнутой одежде приземлился на нее сверху. Занавес упал. Леди Карнарвон, миссис Попхэм из Литтлкота и Джордж Дакворт одновременно встали. Никто не проронил ни слова. Мы двинулись к выходу, и, когда шли вдоль партера, я увидела Артура Кейна, который подскочил со своего места, как черт из табакерки. Он был поражен и, кажется, весьма развеселился, увидев, что Джордж Дакворт и леди Карнарвон привели восемнадцатилетнюю девушку посмотреть, как на сцене изображают совокупление.

Карета уже ждала дам, и миссис Попхэм из Литтлкота, не сказав ни слова и даже не взглянув на меня, сразу же скрылась внутри. Леди Карнарвон тоже не смогла заставить себя посмотреть

мне в глаза. Она взяла меня за руку (ее старческие щеки пылали от волнения) и дрожащим голосом сказала: «Очень надеюсь, мисс Стивен, что сегодняшний вечер не слишком вас утомил». После этого она села в карету, и обе скорбящие леди отправились на Брутон-стрит. Тем временем Джордж поймал кеб. Он был очень смущен, но при этом зол. Я видела, что мои рассуждения о диалогах Платона за ужином глубоко засели у него в голове, и он велел кучеру ехать не обратно на Гайд-парк-гейт, как я ожидала, а на Мелбери-роуд.

«Еще довольно рано, — весьма раздраженно сказал он, усаживаясь. — Думаю, тебе не помешает немного попрактиковаться в общении с незнакомцами. Это, конечно, не твоя вина, но ты бывала в обществе куда меньше, чем большинство девушек твоего возраста». Так выяснилось, что мое обучение продолжается и мне предстоит еще один урок светского поведения в доме миссис Холман Хант. Она устраивала большой прием. На Мелбери-роуд выстроились кебы, экипажи, пролетки и даже несколько карет, запряженных парой мастистых лошадей, принадлежавших респектабельным семьям. «Не самая благородная публика», — презрительно бросил Джордж, когда

мы встали в очередь. Действительно, в большом мавританском зале собрались все старые знакомые нашей семьи, и, войдя туда, я сразу увидела Стиллманов, Лашингтонов, Монтгомери, Морисов, Берн-Джонсов. Мистер Гиббс, профессор Вулстенхолм и генерал Бидл, несомненно, тоже были бы там, если бы уже много лет не покоились в земле. После Брутон-стрит мавританский зал казался вычурным, слегка эксцентричным и, конечно, безвкусным. Дамы были напряженные и неопрятные, а джентльмены — с благородными лбами и укороченными вечерними брюками, из-под которых временами проглядывали ярко-красные носки — прерафаэлитского колора. Джордж расхаживал среди них, как переодетый принц. Вскоре я присоединилась к небольшой группе кенсингтонских дам, которых Глэдис Холман Хант вела через зал в студию. Там мы застали самого старика Ханта в длинном халате Jaeger[16]. Он рассказывал собравшимся об идеях, вдохновивших его на «Светоч мира», вариант которого стоял на мольберте. Периодически Хант отпивал какао и поглаживал свою пышную бороду; мы тоже потягивали какао, кутались в шали

---

[16] Примечания: 16
Английский модный бренд, существующий с 1884 года.

(в помещении было холодно) и слушали. Иногда кто-то отходил в сторону, чтобы с благоговейным шепотом рассмотреть другие яркие полотна на мольбертах, но атмосфера собрания была благочестивой, возвышенной, а для меня, после всех вечерних потрясений, умиротворяющей и почти по-детски простой. Джордж всегда проявлял уважение к признанным гениям преклонного возраста — он вышел вперед с цилиндром под мышкой, вытянулся по струнке и отвесил глубокий поклон Холману Ханту. Тот не имел ни малейшего понятия, кто перед ним кланяется и кто мы вообще такие, но продолжал потягивать какао, поглаживать бороду и до самого нашего ухода объяснять, какие идеи вдохновили его на создание «Светоча мира».

Наконец-то, наконец-то вечер кончился.

Я поднялась к себе в комнату, сняла красивое белое атласное платье и отстегнула три розовые гвоздики, которые были приколоты к моей груди эмалевым варганом. Неужели завтра мне снова предстоит открыть греческий словарь и разбирать диалоги Платона вместе с мисс Кейс? Мне казалось, что я знаю о диалогах Платона гораздо больше, чем она. Я чувствовала себя старой и опытной, разочарованной и рассерженной,

веселой и возбужденной, полной тайн, тревоги и недоумения. В этом сумбурном водовороте чувств я стояла, стаскивая с себя нижние юбки, стягивая длинные белые перчатки и вешая белые шелковые чулки на спинку стула. В голове вихрем кружились мысли о бриллиантах и графинях, соитии, диалогах Платона, безумном Дике Попхэме и «Светоче мира». Ах, как приятно было бы раскинуться в постели, заснуть и забыть обо всем этом!

Я почти уснула. В комнате было темно. В доме царила тишина. Внезапно, тихонько скрипнув, медленно открылась дверь, и кто-то осторожно вошел в комнату.

— Кто там? — воскликнула я.

— Не бойся, — прошептал Джордж. — И не зажигай свет, о моя любимая. Любимая… — И он бросился на кровать, заключив меня в объятия.

Да, пожилые дамы из Кенсингтона и Белгравии так и не узнали, что Джордж Дакворт был для «этих бедняжек Стивен» не только отцом и матерью, братом и сестрой, но и любовником.

Старый Блумсбери

По велению Молли мне пришлось написать мемуары о «Старом Блумсбери», то есть о «Блумсбери» в период с 1904 по 1914 год. Разумеется, это мой взгляд, а не ваш, и я прошу отнестись к нему с пониманием. В моем восприятии путь в Блумсбери начинается с Гайд-парк-гейт — небольшого тупика рядом с Квинс-Гейт, напротив Кенсингтонских садов. Мы должны на мгновение остановиться у высокого дома слева, ближе к концу улицы. Внизу он отделан штукатуркой, а выше — красным кирпичом. Он такой высокий и — теперь, когда мы его продали, я могу сказать это вслух — такой ветхий, что кажется, будто одного сильного порыва ветра хватило бы, чтобы он рухнул.

В конце предыдущего мемуарного очерка я разделась в своей комнате на верхнем этаже, в задней части дома. Мое белое атласное платье лежало на полу. В воздухе витал едва уловимый запах лайковых перчаток. На туалетном столике, запутавшись среди заколок, лежало ожерелье из мелкого жемчуга. Я только что вернулась домой

после приема — вернее, целой череды приемов, в разгар светского сезона 1903 года. Я ужинала с леди Карнарвон на Брутон-стрит и видела, как Джордж целовал ее среди колонн в холле; за ужином я слишком увлеклась рассказом о своих эмоциях, вызванных музыкой. Затем леди Карнарвон, миссис Попхэм, Джордж и я отправились на самую непристойную французскую пьесу, которую я когда-либо видела. В конце первого акта мы выскочили из театра, словно стая испуганных куропаток. Морщинистые щеки миссис Попхэм пылали пунцовым цветом. Седые локоны Элси развевались на ветру. Мы расстались на тротуаре, и, явно смущаясь, Элси выразила надежду, что я не слишком устала, — по-моему, это выражало ее беспокойство за мою невинность или нечто подобное. Потом мы с Джорджем сели в кеб и поехали на другую вечеринку, потому что он, к моему глубокому стыду, сказал, что я слишком много болтала и должна научиться вести себя в обществе. Мы отправились к Холману Ханту и его картине «Светоч мира», которая как раз вернулась из турне по основным городам Британской империи. Мистер Эдвард Клиффорд, миссис Рассел Харрингтон, миссис Фрешфилд, а также целый ряд почтенных пожилых джентльменов в

очках на черных лентах и дам, у которых сквозь старинные и изрядно потрепанные кружева странным образом проступали их позвонки, вполголоса рассуждали о мастерстве художника. Сам же он сидел в скуфье и спокойно попивал горячее какао, несмотря на теплый июньский вечер.

Было уже далеко за полночь, когда я легла в постель и решила перед сном прочитать несколько страниц «Мариуса-эпикурейца»[17], которым тогда увлекалась. Раздался стук в дверь, погас свет, и Джордж бросился на кровать, обнял меня, прижал к себе и начал целовать, чтобы утешить в связи с болезнью отца, как он потом объяснял доктору Сэвиджу. Отец умирал от рака тремя или четырьмя этажами ниже.

Но я прошу вас хотя бы на мгновение представить тот дом, потому что, хотя теперь Гайд-парк-гейт кажется очень далеким от Блумсбери местом, он всё еще отбрасывает на нас тень. Жизнь в доме 46 по Гордон-сквер никогда не была бы такой, какая она есть, если бы ей не предшествовала жизнь на Гайд-парк-гейт. Это был дом с множеством маленьких комнат причудливой

---

[17] Примечания: 17
Историко-философский роман (1885) Уолтера Патера.

формы, рассчитанный не на одну, а сразу на три семьи. Помимо трех Дакворт и четырех Стивенов, там жила еще внучка Теккерея — девочка [Лора Стивен] с отсутствующим взглядом, чей идиотизм становился всё очевиднее с каждым днем: она с трудом читала, могла вдруг бросить ножницы в камин, едва говорила, заикалась, но всё равно должна была сидеть с нами за столом. Чтобы разместить всех нас, родители то надстраивали верхний этаж, то пристраивали столовую внизу. Моя мать, насколько я помню, сама набросала план того, что хотела, дабы не тратиться на услуги архитектора. Все три семьи свезли туда всё свое имущество. Роясь в многочисленных темных шкафах и гардеробах, мы никогда не знали, что можем найти — парик барристера Герберта Дакворта, колоратку моего отца или даже целый лист с рисунками Теккерея, который потом продали Пирпонту Моргану за большую сумму. Десятки черных жестяных коробок были набиты старыми письмами. Открывая их, мы ощущали резкий запах прошлого. Кроме того, у нас были сундуки с тяжелой фамильной посудой, фарфором и стеклом. В доме жили одиннадцать человек в возрасте от восьми до шестидесяти лет и еще семь слуг, которые ухаживали за ними, а

разные старухи и хромые мужчины выполняли поденную работу во дворе — с граблями и ведрами.

В доме царил полумрак, ведь улица Гайд-парк-гейт настолько узкая, что можно было видеть, как миссис Редгрейв[18] моет шею в спальне напротив, а еще потому, что моя мать, воспитанная в традициях уоттсовско-венецианского Литтл-Холланд-хауса, обтянула мебель красным бархатом и выкрасила деревянные поверхности в черный цвет с тонкими золотыми линиями. В доме также стояла полная тишина. За исключением редких извозчиков и тележек мясника, мимо дверей никто не проезжал. Прежде чем в окне появлялся цилиндр или чепец, мы слышали шаги по тротуару и почти всегда знали, кто идет: сэр Артур Клэй, семья Мюир-Маккензи, бледнолицая мисс или красноносая миссис Редгрейв. Там в маленьких спальнях жили семнадцать-восемнадцать человек, деливших между собой одну ванную и три туалета. Там родились мы четверо; там умерли моя бабушка, мать и отец; там Стелла обручилась с Джеком Хиллзом, а спустя три месяца после свадьбы она умерла в

[18] Примечания: 18

Вероятно, жена художника Ричарда Редгрейва, семья жила по адресу Гайд-парк-гейт, 27.

соседнем доме. Когда я вспоминаю наш дом, он представляется мне переполненным сценами семейной жизни — гротескными, комическими и трагическими; бурными эмоциями юности — бунтарством, отчаянием, пьянящим счастьем, безмерной скукой; визитами как знаменитых, так и заурядных людей; вспышками ярости Джорджа и Джеральда; любовными сценами с Джеком Хиллзом; страстной привязанностью к отцу, сменявшейся столь же страстной ненавистью к нему, — всё это трепетало в атмосфере юношеской растерянности и любопытства, и я будто задыхаюсь от воспоминаний. Казалось, всё в том доме было спутано и переплетено эмоциями. Я могла бы написать историю каждой кляксы и царапины в своей комнате, как я писала позже. Стены и комнаты буквально были построены под нас. Мы пропитали всё это огромное строение, теперь превращенное в отель, историей нашей семьи. Казалось, дом и семья, которая в нем жила, связанные множеством смертей и традиций, будут существовать вечно. И вдруг, в одну ночь, исчезло и то и другое.

Когда я оправилась от болезни, которая, разумеется, была следствием всех этих переживаний и потрясений, дом 22 по Гайд-парк-гейт нам боль-

ше не принадлежал. Пока я лежала в постели у Дикинсонов в Уэлине[19] и слышала, как птицы поют на греческом, а король Эдуард VII выражается жутким языком среди азалий Оззи Дикинсона, Ванесса расправлялась с Гайд-парк-гейт раз и навсегда. Она всё продала, сожгла, рассортировала или порвала. Порой я думаю, что ей даже пришлось нанимать рабочих с молотками, чтобы разнести стены и выбить шкафы — настолько плотно они срослись. Комнаты опустели. Мебельные фургоны увезли все вещи. Но исчезла не только мебель — распалась и наша семья, которая казалась такой сплоченной. Джордж женился на леди Маргарет. Джеральд снял холостяцкую квартиру на Беркли-стрит. Лору поместили в психиатрическую лечебницу под наблюдение врачей. Джек Хиллз начал политическую карьеру. Таким образом, мы остались вчетвером, и Ванесса, взглянув на карту Лондона и увидев, как далеко нас разбросала жизнь, решила, что нам следует покинуть Кенсингтон и начать новую жизнь в Блумсбери.

---

[19] Примечания: 19

Деревня в графстве Хартфордшир. После смерти отца у Вирджинии случился второй в жизни приступ психического расстройства, начавшийся в мае 1904 года. Почти три месяца она провела в доме Вайолет Дикинсон, где предприняла первую попытку самоубийства.

Так мы переехали в дом 46 по Гордон-сквер. Сегодня Гордон-сквер едва ли можно назвать одной из самых романтичных площадей Блумсбери. У нее нет ни утонченности Фицрой-сквер, ни величия Макленбург-сквер. Это район процветающего среднего класса, насквозь пронизанный духом середины викторианской эпохи. Но я могу заверить вас, что в октябре 1904 года это было самое красивое, самое волнующее и самое романтичное место на свете. Прежде всего, было удивительно стоять у окна гостиной и смотреть на все эти деревья: одно вскидывает свои ветви, позволяя листве струиться, словно водопад; другое после дождя блестит, как спина тюленя, — вместо того чтобы снова видеть старую миссис Редгрейв, которая моет шею в доме напротив. Яркий свет и свежий воздух после удушливого красного полумрака на Гайд-парк-гейт стали настоящим откровением. Вещи, которые там нельзя было разглядеть — картины Уоттса, голландские шкафы, голубой фарфор, — впервые засияли в гостиной на Гордон-сквер. После глухой тишины на Гайд-парк-гейт рев уличного транспорта действительно пугал. Под окнами бродили странные и зловещие фигуры. Но еще более захватывающим стало необычайное ощущение простора: на Гайд-

парк-гейт у каждого из нас была лишь спальня, где мы читали или принимали гостей. Здесь же у нас с Ванессой появились собственные гостиные, большой общий зал и кабинет на первом этаже. К тому же весь дом был полностью отремонтирован, что придало ему новизны и свежести. Нет нужды говорить, что уоттсовско-венецианская эпоха красного бархата и черной краски осталась в прошлом, а мы вступили в эру Сарджента и Фурса: повсюду были белые и зеленые ситцевые ткани, а вместо замысловатых узоров Морриса мы выбрали простую однотонную краску. Мы жаждали экспериментов и реформ. Никаких больше столовых салфеток — вместо них внушительные запасы [туалетной бумаги] «Bromo»; мы собирались рисовать, писать и после ужина в девять вечера пить кофе, а не чай. Всё должно было быть новым, другим. Всё проверялось на практике.

Судя по всему, мы были чрезвычайно общительны. В течение нескольких месяцев, зимой 1904–1905 годов, я вела дневник и, недавно перечитав его, узнала, что мы постоянно обедали и ужинали вне дома, слонялись по книжным магазинам («Блумсбери намного интереснее Кен-

сингтона», — писала я)[20], ходили на концерты, посещали картинные галереи, а по возвращении домой обнаруживали, что гостиная полна самых неординарных людей.

> «Кузен Генри Принцеп, мисс Милле, Оззи Дикинсон и Виктор Маршалл приехали сегодня днем и засиделись допоздна, так что мы едва успели на лекцию мистера Раттера об импрессионизме в галерее Графтона… Леди Хилтон, В. Дикинсон и Э. Колтман пришли на чай… Мы обедали с Шоу-Стюартами и познакомились с художественным критиком Николсом. Сэр Хью показался мне милым, хотя в нем нет ничего особенного… Я обедала с четой Протеро и познакомилась с Бертраном Расселом. Это было весьма занимательно. Мы с Тоби[21] ужинали с Сесилами, а

[20] Примечания: 20

На самом деле дневник велся с 1 января по 31 мая 1905 года, хотя первая запись сделана в Рождество 1904 года. Кроме того, Вирджиния неточно цитирует собственную запись: «В целом Блумсбери — более интересный квартал, нежели Кенсингтон». Далее Вулф якобы цитирует дневник, хотя на самом деле всего лишь пересказывает его, и ни одна из частей записи не соответствует сохранившемуся и опубликованному тексту.

[21] Примечания: 21

Брат Ванессы, Вирджинии и Адриана, умерший от брюшного тифа, которым он заразился в Греции.

потом отправились к Сент-Лоу Стрэйчи, где встретили много знакомых… Я заехала за Нессой и Тоби к миссис Флауэр, и мы отправились на танцы к Хобхаусам… Сегодня Несса была в полном отчаянии, ожидая мистера [Генри] Тонкса, который пришел в час и раскритиковал ее картины. Это человек с холодным скуластым лицом, глазами навыкате и выражением смешанной суровости и скуки. Мэг Бут и сэр Фред Поллок пришли на чай…»

И так далее. Но среди всех этих коротких записей о вечеринках, о том, как нам привезли ситец, как мы ходили в зоопарк или на «Питера Пэна», есть несколько записей, имеющих отношение к «Блумсбери». В четверг 2 марта 1905 года Вайолет Дикинсон привела на чай жену священника, а Сидни-Тёрнер и [Литтон] Стрэйчи пришли после ужина, и мы проговорили до полуночи.

В среду 8 марта: «Сегодня днем Маргарет [Дакворт] прислала за нами новенький автомобиль, и мы заехали за Вайолет, чтобы нанести несколько визитов — конечно же, мы забыли свои визитные карточки. Потом я отправилась на Ватерлоо-роуд [в колледж Морли] и прочитала лекцию (мужчи-

нам и женщинам из рабочего класса) о греческих мифах. Вернувшись домой, я застала [Клайва] Белла, и мы проговорили о природе добра почти до часа ночи!»

16 марта с нами ужинали мисс Пауэр и мисс Мэлоун. «Сидни-Тёрнер и Джеральд пришли после ужина — первый из наших *четверговых вечеров*!» 23 марта «девять человек пришли на наш вечер и оставались до часа ночи»[22].

Через несколько дней я отправилась в Испанию, но обязанность, которую я сама на себя возложила — описывать каждый вид и звук, каждую волну и холм, — так меня утомила, что я бросила вести дневник. Последняя запись датирована 11 мая: «Наш четверговый вечер: Гэй, Белл, Д. Маккарти и Джеральд, которые шокировали культурных людей»[23].

Таким образом, мой дневник обрывается как

---

[22] Примечания: 22

«Домашние» или «четверговые вечера» Стивенов в доме 46 по Гордон-сквер, организованные Тоби Стивеном, согласно Вирджинии, начались 16 марта 1905 года. Формально первый «четверговый вечер» состоялся 16 февраля 1905 года, и единственным гостем был Саксон Сидни-Тёрнер. О вечере 23 марта сведений не сохранилось.

[23] Примечания: 23

На самом деле в этом дневнике есть также записи от 12–13 и 31 мая. Рассел Керр Гэй — некий кембриджский студент, которого упоминает Леонард Вулф, см.: *Woolf L.* Sowing: An Autobiography of the Years 1880–1904. London, 1960. P. 110–113. 11 апреля 1909 года Гэй покончил с собой.

раз в тот момент, когда он мог бы стать интересным. И всё же, думаю, даже из этой короткой, наспех сделанной выжимки видно, что первые встречи «Блумсбери» в период его становления отличались от всех последующих. Это единственные записи, где я не просто упоминаю, что встретила того или иного человека и нахожу, что у него вытянутое лицо, как у Реджинальда Смита, или что он напыщен, как Мурсом, или что с ним легко ладить, или что он, в сущности, ничего собой не представляет, как сэр Хью Шоу-Стюарт, — нет, я пишу о беседах со Стрэйчи и Сидни-Тёрнером. Более того, я ставлю восклицательный знак, когда говорю, что обсуждала с Беллом природу добра до часа ночи! А ведь я редко использовала восклицательный знак; вот еще один случай — в записи о том, что я выкурила сигарету с Беатрисой Тинн!

Эти *четверговые вечера* представляются мне тем самым зерном, из которого выросло всё то, что теперь называют — в газетах и романах, в Германии, во Франции и даже, осмелюсь сказать, в Турции и Тимбукту — кругом «Блумсбери». Наши встречи заслуживают того, чтобы их описать, запечатлеть. Но как же это трудно — почти невозможно. Разговоры — даже те, которые ока-

зали огромное влияние на жизнь и характер двух мисс Стивен, — даже самые увлекательные и важные из них неуловимы, как вылетающий в трубу дым.

Прежде всего, нельзя сказать, что, когда дверь открылась и весьма нерешительно, даже застенчиво, вошли Тёрнер и Стрэйчи, они были нам совершенно незнакомы. Мы уже встречались с ними, а также с Беллом, Вулфом, Хилтоном Янгом и другими на майском балу в Кембридже, еще до смерти моего отца. Но гораздо важнее было то, что мы много слышали о них от Тоби. Мой брат обладал удивительной способностью романтизировать своих друзей. Еще будучи учеником частной школы, он всегда находил какого-нибудь удивительного товарища, чья выдающаяся личность и подвиги становились темой его бесконечных рассказов во время каникул. Эти истории завораживали меня. Я думала о Пилкингтоне, Сидни Ирвине или Вулли Бире, которых никогда не встречала, как о шекспировских персонажах. Я даже сама сочиняла о них истории. Это была своего рода сага, продолжавшаяся из года в год. И вот, едва закончились рассказы о Рэдклиффе, Стюарте или ком-то еще, их сменили истории о Белле, Стрэйчи, Тёрнере и Вулфе. Мы часами го-

ворили о них во время прогулок по окрестностям или сидя у камина в моей спальне.

«Есть один потрясающий парень Белл, — начал было Тоби, едва переступив порог. — Он вроде как смесь Шелли и спортивного сельского сквайра».

Услышав это, я, разумеется, навострила уши и принялась задавать бесчисленные вопросы. Помню, мы шли по какой-то пустоши. У меня сложилось фантастическое впечатление, что этот невероятный Белл — своего рода Бог Солнца с соломенными волосами. Он представлялся живым воплощением невинности и энтузиазма. По словам Тоби, до поступления в Кембридж Белл не прочел ни одной книги, а потом вдруг открыл для себя Шелли и Китса и чуть не обезумел от восторга. Он только и делал, что декламировал стихи и писал свои собственные. При этом он был превосходным наездником, чем Тоби безмерно восхищался, и держал в Кембридже двух или трех охотничьих лошадей.

«А Белл — великий поэт?» — спросила я.

Нет, Тоби не стал бы так превозносить Белла, а Литтона — вполне мог. И вот мы уже обсуждали Стрэйчи — или, как называл его Тоби, «Стрэйча». Он сразу показался мне столь же необычным и очаровательным, как Белл, но в совершенно

ином смысле. Стрэйч был воплощением самой культуры. Мне даже кажется, что эта его утонченность слегка напрягала Тоби. В комнатах Стрэйчи висели французские картины. Он обожал Поупа. Он был экзотичен, склонен к крайностям, и Тоби описывал его настолько высоким и худым человеком, что его бедро представлялось не толще руки моего брата. Однажды он ворвался в комнату Тоби с криком: «Ты слышишь музыку сфер?» — и тут же упал в обморок. Как-то раз в полной тишине — Тоби прекрасно имитировал его голос — Стрэйчи внезапно пропищал: «А давайте все напишем сонеты Робертсону![24]» Он был настоящим вундеркиндом. Даже учителя и деканы приходили послушать его. «Что бы тебе ни поставили, Стрэйчи, — сказал ему доктор Джексон перед экзаменом, — этого будет недостаточно». А потом Тоби, впечатлив меня до глубины души и даже ошеломив, переключился на рассказ о другом потрясающем человеке, которого постоянно всего трясло. Он был таким же эксцентричным и по-своему необычным, как Белл

[24] Примечания: 24

А. Д. Робертсон был сокурсником Клайва Белла, Леонарда Вулфа, Саксона Сидни-Тёрнера и Тоби Стивена в Тринити-колледже Кембриджа. Белл вспоминал о нем как об одном из основателей «Полуночного общества», которое считал ядром группы «Блумсбери», однако он писал, что Робертсон отказался от чести быть членом этой группы.

или Стрэйчи. Он был евреем. Когда я спросила, почему его трясет, Тоби дал понять, что это часть его натуры — яростной, свирепой, презирающей весь людской род. «В конце концов, — сказал Тоби, — это просто причуда, не так ли?» Он считал, что после двадцати пяти лет человек становится никчемным, но большинство, как я поняла, смиряются и привыкают к жизни. Вулф — нет, и это восхищало Тоби. Однажды Вулфу приснилось, что он душит человека, причем с такой яростью, что, проснувшись, обнаружил у себя вывих большого пальца. Разумеется, я сразу прониклась глубочайшим интересом к этому неистовому дрожащему еврею-мизантропу, который грозил кулаком цивилизации и собирался исчезнуть в тропиках[25], чтобы никто из нас больше его не увидел. А потом, вероятно, Тоби снова сменил тему и заговорил о Сидни-Тёрнере. По словам брата, он был настоящим ученым-гением. Сидни-Тёрнер знал наизусть всю греческую литературу и прочел почти всё лучшее, что когда-либо было написано — на всех языках. Сидни-Тёрнер был молчаливым, худым и странным. Он никогда не выходил днем, но по ночам, если видел горящий

[25] Примечания: 25
Леонард Вулф работал госслужащим на Цейлоне с 1904 по 1911 год.

свет, приходил и стучался в окно, как мотылек. Примерно в три часа ночи у него развязывался язык, и тогда его речь была поразительно яркой и глубокой. Когда позже я пожаловалась Тоби, что познакомилась с Тёрнером, но не нашла в нем ничего блестящего, Тоби сурово предположил, что под блеском я подразумеваю остроумие, а он — истину. По его словам, Сидни-Тёрнер был самым блестящим собеседником из всех, кого он знал, ибо тот всегда изрекал только истину.

Естественно, когда прозвенел звонок и на пороге появились эти удивительные гости, мы с Ванессой разволновались. Был поздний вечер; в комнате стоял густой табачный дым; повсюду лежали булочки, стояли кофейные чашки и стаканы с виски. Мы были не в белом атласе и жемчугах — и вообще без вечерних нарядов. Тоби пошел открывать дверь — и вот один за другим вошли Сидни-Тёрнер, Белл и Стрэйчи.

Они вошли с некоторой нерешительностью и скромностью, стараясь не привлекать внимания, и тихо устроились в уголках диванов. Долгое время они молчали, и ни одна из наших обычных попыток завести разговор не сработала. Ванесса и Тоби — ах, если бы рядом был Клайв, всегда готовый поддержать беседу, — начинали разго-

воры на разные темы, но в большинстве случаев получали отказ. Чаще всего звучало «нет»: «Нет, я этого не видел»; «Нет, я там не бывал»; или просто — «Я не знаю». Беседа замирала — в гостиной на Гайд-парк-гейт такое было просто невозможно. Но эта тишина была не скучной, а скорее тяжелой, давящей. Казалось, планка достойной к обсуждению темы взлетела так высоко, что лучше было вовсе молчать, чем сказать что-то неподобающее. Мы сидели, уставившись в пол. И вот наконец Ванесса, рассказывая, вероятно, о какой-то выставке, неосторожно употребила слово «красота». Тогда один из молодых людей медленно поднял голову и сказал: «Смотря что вы понимаете под красотой». Все тут же насторожились — словно перед быком наконец-то взмахнули красной тряпкой.

Этой тряпкой могла быть и «красота», и «благо», и «реальность» — в сущности, любое абстрактное понятие, которое вытягивало из нас все силы. Никогда прежде я так внимательно не вслушивалась в каждое слово и каждый нюанс аргумента. Никогда еще мне не приходилось прилагать столько усилий, затачивая и пуская в ход собственные маленькие иглы доводов. И какая же это была радость — когда твои слова

принимали! Ни одна похвала не радовала меня сильнее, чем слова Саксона — разве он, в конце концов, не был непогрешим? — о том, что, по его мнению, я очень умно отстояла свою точку зрения. А какие странные у нас бывали споры! Помню, как пыталась убедить Хоутри, что у литературы есть такое качество, как атмосфера. Он потребовал, чтобы я доказала это, указав в тексте какое-нибудь слово, обладающее этим свойством помимо своего прямого смысла. Я принесла роман [Мередита] «Диана из Кроссвей». Споры — будь то об атмосфере или о природе истины — неизменно разгорались посреди вечера. То Хоутри что-нибудь говорил, то Ванесса, то Саксон, то Клайв, то Тоби. Я с изумлением наблюдала за теми, кто в итоге оставался в споре, — как они осторожно, шаг за шагом, приводили свои доводы — тщательно, методично и еще долго после того, как спор, казалось, уже исчерпан. Но даже если сказать было нечего, всегда можно было слушать. И тогда возникало ощущение, что высоко в небе над нами свершается чудо. Мы часто засиживались до двух или трех часов ночи. Саксон раз за разом вынимал трубку изо рта, словно собираясь что-то сказать, а затем снова затягивался, так и не проронив ни слова. Наконец, откинув назад

волосы, он внезапно произносил какой-нибудь лаконичный, абсолютный и безупречный вывод. Великолепное завершение. Можно было идти спать с ощущением, что произошло нечто очень важное, ведь было доказано, что красота является — или не является, я так и не поняла, — частью картины.

От этих дискуссий мы с Ванессой получали, наверное, такое же удовольствие, какое испытывают студенты, впервые встречая близких по духу людей. В мире Бутов и Максов от нас не требовалось особенно напрягать мозги, а здесь мы пользовались только ими. Часть очарования этих *четверговых вечеров* заключалась в том, что разговоры были невероятно абстрактными. И дело не только в том, что книга Мура[26] заставила нас обсуждать философию, искусство и религию, — сама атмосфера (если уж использовать это слово вопреки Хоутри) была предельно далека от бытовых условностей. Молодые люди, которых я перечислила, не обладали манерами в том смысле, в каком их понимали на Гайд-парк-гейт. Они критиковали наши доводы так же строго, как и свои собственные. Казалось, их

[26] Примечания: 26

Книга философа Д. Э. Мура «Принципы этики», которую имеет в виду Вирджиния, вышла в 1903 году.

совершенно не интересовало, во что мы одеты и привлекательны ли мы. Тяжелое бремя внешнего вида и светских приличий, возложенное на нас Джорджем еще в детстве, спало с плеч. Больше не нужно было терпеть ужасные разговоры после очередного приема: «Ты была прекрасна»; «Ты выглядела простовато»; «Тебе действительно стоит научиться делать прическу»; «Постарайся не выглядеть скучающей, когда танцуешь»; «Ты добилась успеха»; «Ты потерпела неудачу». В мире Белла, Стрэйчи, Хоутри и Сидни-Тёрнера всего этого просто не существовало. Единственные комментарии, когда мы с братом растягивались в креслах после ухода гостей, звучали так: «Должен сказать, что ты здорово излагала свою точку зрения»; «Думаю, ты говорила несерьезно». Это было невероятным облегчением, а для меня — еще и огромной пользой. Атмосфера Гайд-парк-гейт была насквозь пропитана разговорами о любви и браке. Помолвки Джорджа с Флорой Рассел и Стеллы с Джеком Хиллзом, бесчисленные увлечения Джеральда с величайшим интересом обсуждались и в частном порядке, и открыто. Все считали, что Ванесса увлеклась Остином Чемберленом. Моя тетя Мэри Фишер, роясь, как обычно, в наших личных вещах, обнаружила в

альбоме Ванессы шесть его портретов и сделала свои выводы. Джордж, в свою очередь, полагал, что в Ванессу влюблен Чарльз Тревельян. А вот на Гордон-сквер о любви не говорили. Ее просто не существовало. К ней относились с таким пренебрежением, что я долгое время была убеждена: Дезмонд женился на седовласой шестидесятилетней мисс Корниш. Никому и в голову не пришло уточнить этот факт. Казалось невероятным, что кто-то из этих молодых людей захочет жениться на нас или что мы захотим выйти за кого-то из них. Втайне я считала брак довольно низменным делом, но если уж выходить замуж — говорю это совершенно серьезно, — то исключительно за выпускника Итона, который был в сборной по крикету и переодевался к ужину. Оглядывая гостиную дома 46 по Гордон-сквер, я думала — прошу прощения за откровенность, — что никогда не видела столь невзрачных и физически непривлекательных молодых людей, как друзья Тоби. Китти Макс заходила к нам пару раз, а потом морщилась и говорила: «Не сомневаюсь, что они очень милы, но, боже мой, дорогая, как ужасно они выглядят!» Генри Джеймс, увидев

Литтона и Саксона в Рае[27], воскликнул, обращаясь к миссис Протеро: «Ужас! Просто кошмар! Как Ванесса и Вирджиния могли завести таких друзей? Как дочери Лесли Стивена могут водиться с подобными людьми?» Но именно эта внешняя небрежность и нарочитая убогость были для меня доказательством их превосходства. Более того, это вселяло надежду, ибо означало, что можно жить иначе: вести абстрактные споры, не переодеваться к ужину и никогда не возвращаться к тому, что мне так претило на Гайд-парк-гейт.

Я ошибалась. Как-то раз, в то первое лето, Ванесса, глядя на свое отражение в большом зеркале, подняла руки над головой — в этом движении читались одновременно нежелание и покорность, я сама это видела, — и сказала нам с Адрианом: «Конечно, я понимаю, что все мы когда-нибудь выйдем замуж или женимся. Так и будет». И в тот момент я почувствовала, что над всеми нами нависла ужасная неизбежность; судьба настигнет нас и разлучит именно теперь, когда мы наконец обрели свободу и счастье. Казалось, она уже осознала какую-то обязанность, необходимость, которую я отвергала и старалась

---

[27] Примечания: 27
Небольшой город в графстве Восточный Сассекс.

не замечать. Спустя несколько недель Ванесса и правда получила предложение от Клайва. «М-да, — мрачно протянул Тоби, когда я робко сообщила ему о предложении, — вот оно, худшее в наших *четверговых вечерах*!» Фактически именно ее замужество в начале 1907 года и положило им конец. Так завершилась первая глава «Старого Блумсбери». Это было суровое, волнующее и невероятно важное время. Возник маленький замкнутый мир, обособленный внутри куда более обширного и расплывчатого мира танцев и званых ужинов. Этот мир уже начал оказывать влияние на окружающую действительность и, думаю, повлиял на более общительный «Блумсбери», пришедший ему на смену.

Но так не могло продолжаться вечно. Даже если бы Ванесса не вышла замуж, а Тоби остался жив, перемены были неизбежны. Мы не могли бесконечно обсуждать абстрактную природу красоты. Молодые люди, как мы их называли, постепенно превратились из абстрактных фигур в конкретных людей. Они больше не были мистером Тёрнером, мистером Стрэйчи и мистером Беллом. Они стали Саксоном, Литтоном и Клайвом. И тогда начались сравнения, различения, переоценки. Их старые яркие портреты требовали

пересмотра. Например, Уолтер Лэмб, которого Тоби сравнивал с греческим мальчиком, играющим на флейте среди виноградников, на деле оказался довольно лысым и скучным мужчиной. Хотелось, чтобы Саксон либо ушел, либо, наконец, изрек хоть что-то, пусть и не безусловную истину. Даже «Евфросина»[28], когда вышла, вызвала сомнения: действительно ли стихи из этого знаменитого сборника обретут бессмертие, как утверждал Тоби? Но был и другой фактор перемен, хотя лично я его тогда не осознавала. Возможно, если я прочту вам отрывок из другого дневника, который вела с перерывами на протяжении месяца или двух в 1909 году[29], вы догадаетесь, о чем идет речь. В нем я описываю чаепитие в комнате Джеймса Стрэйчи в Кембридже:

Его комната, хоть и съемная, была сдержанной и тусклой. На стенах висели французские пастели, а в шкафах стояли старые книги. Трое молодых людей: Нортон, [Руперт] Брук и Джеймс Стрэйчи — сидели в глубоких креслах, сосредоточенно

[28] Примечания: 28

Томик поэзии Клайва Белла, Литтона Стрэйчи, Саксона Сидни-Тёрнера, Леонарда Вулфа, Уолтера Лэмба и других, изданный частным образом в 1905 году.

[29] Примечания: 29

В оригинальном издании ранних дневников Вирджинии упомянутых записей нет.

глядя в камин. Мистер Нортон понимал, что должен говорить; мы с ним вели натянутую беседу. Остальные молчали. Хотелось бы объяснить это молчание, но времени мало, да и сама я в замешательстве. Дело в том, что эти молодые люди, по-видимому, достойны уважения; они не просто умны, но и взгляды их кажутся мне простыми и честными. Они не склонны к пустословию, и у каждого есть свои убеждения, с которыми при необходимости можно не согласиться. Однако нам нечего было сказать друг другу, и я ощущала, что критикуют не только мои слова, но и мое присутствие. Они жаждали правды и сомневались, способна ли я на нее. Мне показалось это смелым, но отталкивающим. Я восхищалась атмосферой — а может, и не только ею — и в какой-то степени ощущала себя непринужденно. Но почему интеллект и характер порой так бесплодны? Казалось, величайшие усилия умнейших людей ведут лишь к отсутствию результата; невозможно быть предельно честной.

Это сильно отличалось от того, что я бы написала двумя-тремя годами ранее. Отчасти, конечно, перемены объяснялись обстоятельствами: теперь я жила с Адрианом на Фицрой-сквер, и мы совершенно не уживались вместе, постоянно

доводя друг друга то до белого каления, то до полного отчаяния. Мы посещали множество светских приемов, но соединить два мира, которые я считала столь [неразборчивое слово], оказалось невозможным. Примирить их я не могла. Правда, наши *четверговые вечера* продолжались, но теперь в них чувствовалось напряжение, и слишком часто они заканчивались полным провалом. Адриан уходил в свою комнату, я — в свою, и оба мы молчали. Но дело было не только в этом. В чем именно — я тогда еще не до конца понимала. Теоретически, из книг, я знала о жизни куда больше, чем из личного опыта. Я, конечно, понимала, что в платоновской Греции были педерасты, и подозревала — спросить об этом Тоби я, разумеется, не могла, — что они есть и в Тринити-колледже Кембриджа, руководимом доктором Батлером, но мне и в голову не приходило, что они регулярно бывают в гостиной Стивенов на Гордон-сквер. Я даже не задумывалась, что абстрактность и простота, принесшие такое облегчение после жизни на Гайд-парк-гейт, во многом объяснялись тем, что большинство молодых людей, приходивших к нам в гости, попросту не интересовались женщинами. Я не понимала, что любовь, о которой они никогда не

говорили, на самом деле обсуждалась ими почти постоянно. Вот почему я недоумевала. Долгие посиделки, затянувшееся молчание, бесконечные споры — всё это продолжилось на Фицрой-сквер, как прежде на Гордон-сквер. Но теперь эти люди стали мне совершенно непонятны. Они по-прежнему волновали меня больше, чем все остальные мужчины, которых я встречала во внешнем мире светских ужинов и танцев, и всё же — осмелюсь ли я озвучить или даже подумать об этом? — мне было невыносимо скучно. Почему, спрашивала я себя, нам нечего сказать друг другу? Почему самые одаренные люди оказывались одновременно и самыми бесплодными? Почему самые вдохновляющие дружеские отношения были одновременно и самыми изматывающими? Почему всё это оказалось пустым? Почему эти молодые люди заставляли меня чувствовать, что я на самом деле ничего из себя не представляю? Ответ на все эти вопросы, как вы уже поняли, очевиден: между нами не было физического влечения.

Такое общество имеет множество преимуществ, если вы женщина. Оно простое и честное, в нем можно почувствовать себя, как я уже отмечала, в каком-то смысле непринужденно. Но есть один существенный недостаток: в нем не

получится, как говорят нянюшки, красоваться. Всегда что-то замалчивается, сдерживается. И всё же это позерство, которое вовсе не обязательно приводит к совокуплению и тем более к влюбленности, — одно из величайших наслаждений и едва ли не главная жизненная потребность. Без него исчезает всякое напряжение, пропадает честность, слабеет ум. Превращаешься во что-то абсурдное и легкое — в пузырьки газированной воды или шампанского, сквозь которые мир видится окрашенным во все цвета радуги. Примечательно, что из тусклой, невзрачной кембриджской комнаты Джеймса Стрэйчи я отправилась на ужин к леди Оттолин Моррелл на Бедфорд-сквер, о чем написано буквально на следующей странице моего дневника. Ее дом, как я отметила, не делая никаких выводов, сразу же показался мне полным «блеска и иллюзий».

Так что я изменилась. Но это было лишь частью гораздо больших перемен. Штаб-квартира «Блумсбери» всегда находилась на Гордон-сквер. Теперь, когда Ванесса и Клайв поженились, когда Клайв окончательно и бесповоротно шокировал мир Максов, Бутов, Сесилов и Протеро, когда они отремонтировали свой дом и начали устраивать небольшие званые ужины за столом с

красивой коричневой скатертью и прекрасным серебром XVIII века, «Блумсбери» быстро утратил свой затворнический характер, который был свойственен его Первой главе; Вторая же сильно отличалась — по крайней мере на первый взгляд.

Еще одна сцена навсегда осталась в моей памяти — не знаю, придумала я ее или нет, — как лучшая иллюстрация Второй главы «Блумсбери». Был весенний вечер. Мы с Ванессой сидели в гостиной. С 1904 года комната сильно изменилась. Эпоха Сарджента-Фурса осталась в прошлом. Началась эра Огастеса Джона. Его «Пирам»[30] занимал всю стену. Портреты моих отца и матери, написанные Уоттсом, висели внизу в коридоре, если вообще где-то висели. Клайв спрятал все спичечные коробки, потому что их сине-желтая расцветка не сочеталась с преобладающей гаммой комнаты. В любой момент мог войти Клайв, и мы тут же начинали спорить — сначала мирно и дружелюбно, но очень скоро доходя до оскорблений и мечась по комнате. Ванесса сидела молча, занятая чем-то таинственным, бесшумно орудуя иголкой или ножницами. Я эгоистично и возбуж-

[30] Примечания: 30

30) Возможно, портрет Пирама Джона, сына Огастеса Джона, умершего в детстве от менингита.

денно говорила только о себе. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла высокая и зловещая фигура мистера Литтона Стрэйчи. Он поднял палец и указал на пятно на белом платье Ванессы.

— Сперма? — спросил он.

«Неужели такое можно говорить вслух?» — подумала я, и мы расхохотались. Одно-единственное слово разрушило все барьеры. Казалось, нас захлестнул поток священной жидкости. Тема секса пропитала все разговоры. Слово «педераст» не сходило с уст. Мы обсуждали совокупление с той же страстью и откровенностью, с какой прежде говорили о природе добра. Странно теперь думать, насколько мы были чопорны прежде и как долго это длилось. Сейчас кажется удивительным, что в 1908 или 1909 году мы с Клайвом оба покраснели, когда я попросила его пропустить меня в туалет во французском экспрессе. Мне и в голову не приходило расспрашивать Ванессу о ее первой брачной ночи. Тоби и Адриан скорее бы умерли, чем стали обсуждать любовные похождения сокурсников. Когда все интеллектуальные вопросы обсуждались столь свободно, тема секса попросту игнорировалась, но теперь и на нее пролился свет. Мы все понимали, но никогда не обсуждали это, а теперь говорили только о сексе.

Мы с восторгом слушали о любовных похождениях. Мы следили за всеми взлетами и падениями в этих перипетиях: Ванесса — с сочувствием; я, еще в 1905 году написавшая, что женщины куда забавнее мужчин, — легкомысленно, смеясь. «Нортон рассказал мне, — говорила Ванесса, — что Джеймс в полном отчаянии: Руперт уже дважды спал с Хобхаусом». А я завершала ее историю не менее захватывающей сплетней о божественно красивом студенте по имени Джордж Мэллори — с лицом греческого бога, но, увы, гнилыми зубами.

Всё это привело к настоящей революции в наших прежних сентиментальных представлениях о браке, на которых мы были воспитаны. Ужасно неловко признаваться вам, сколько мне было лет, когда я наконец поняла, что нет ничего шокирующего в том, что у мужчины есть любовница или что какая-то женщина становится таковой. Возможно, верность наших родителей была не единственной возможной и не обязательно высшей формой супружеской жизни. А может, и вовсе не была такой уж безупречной, как мы всегда полагали. «Конечно, у Китти Макс есть два или три любовника, — сказал Клайв. — Она же такая целомудренная, изысканная, преданная!»

И снова все представления о жизни перевернулись с ног на голову.

Таким образом, в доме 46 по Гордон-сквер не осталось ничего, что нельзя было бы обсудить или сделать. По-моему, это был огромный шаг вперед в развитии цивилизации. Возможно, любовные истории педерастов и не представляют особого интереса или первостепенной важности — по крайней мере для тех, кто к ним не относится, — но сама возможность обсуждать их открыто приводит к тому, что никому нет дела до того, чем человек занимается в личной жизни. Так или иначе, многие обычаи и убеждения оказались пересмотрены. И действительно, будущее «Блумсбери» должно было показать, что тема секса столь многогранна, а пути к счастью столь разнообразны, что даже мой отец, вероятно, замешкался бы, прежде чем грозно выкрикнуть то единственное слово, которое, как он считал, лучше всего подходит для обозначения педерастов и прелюбодеев: «Мерзавец!»

Здесь я подхожу к вопросу, который, пожалуй, лучше всего оставить другому автору мемуаров, а именно: если принять существование «Блумсбери» за данность, то какие качества позволяют человеку попасть в этот круг, а какие, наоборот,

мешают? Как бы то ни было, в период с 1910 по 1914 год «Блумсбери» пополнился множеством новых членов. Однажды вечером, примерно в 1910 году, Клайв вбежал по лестнице в состоянии крайнего возбуждения. У него только что состоялся один из самых интересных разговоров в жизни — с Роджером Фраем. Они часами обсуждали теорию искусства. Роджер Фрай показался Клайву самым интересным человеком, которого он встречал со времен Кембриджа. Так Роджер и появился в нашей гостиной. Кажется, он пришел в длинном свободном пальто, в каждом кармане которого была книга, коробка с красками или еще что-нибудь интригующее; с особыми мундштуками, купленными у мелкого торговца в каком-то закоулке; с холстами под мышкой; с развевающимися волосами и горящими глазами. У него было больше знаний и опыта, чем у всех нас вместе взятых. Казалось, его разум цеплялся за жизнь посредством множества разных связей и привязанностей. Мы заговорили о «Мари-Клэр»[31]. И тут между нами вспыхнул спор — о прилагательных, об ассоциациях, о подтексте. Мы перечитывали Мильтона и Вордсворта. Нам

[31] Примечания: 31

Автобиографический роман (1910) французской писательницы Маргариты Оду (1863–1937), зарабатывавшей на жизнь шитьем.

пришлось заново всё переосмыслить. Старые, еще примитивные рассуждения «Блумсбери» об искусстве и красоте, казалось, обрели плоть и кровь. Постоянно возникали новые идеи; на стуле неизменно появлялась новая картина для обсуждения; то и дело из безвестности и мрака на свет выныривали молодые поэты. Дом 46 по Гордон-сквер наводнили странные личности: Ротенштейн, Сикерт, Йейтс, Тонкс — и, как мне кажется, Ванесса больше не чувствовала себя несчастной. А еще время от времени можно было увидеть диковинное существо, напоминавшее фавна, — он теребил свою одежду, хлопал глазами и забавно запинался на длинных словах. За год или два до этого мы с Адрианом стояли перед черно-золотой картиной в Лувре, когда чей-то голос произнес: «Вы Адриан Стивен? Я — Дункан Грант». С тех пор Дункан всё чаще стал появляться в «Блумсбери». Я и понятия не имела, на что он жил: у него не было ни гроша за душой. Дядя Тревор и вовсе считал его безумцем. Дункан обитал в студии на Фицрой-сквер вместе с пожилой пьяницей-поденщицей по фамилии Филмер и со священнослужителем, который пугал девиц на улице, корча им гримасы. С обоими у Дункана были прекрасные отношения. Друзья снабжали его

одеждой, которая была ему велика и, казалось, вот-вот спадет. Он одолжил у нас старый фарфор для росписи и брюки моего отца для вечеринки. Фарфор он разбил, а брюки испортил, прыгнув в реку Кам, чтобы спасти ребенка, которого унесло течением, когда тот зацепился за канат катера Уолтера Лэмба «Aholibah»[32]. Наша кухарка Софи называла Дункана «этим мистером Грантом» и жаловалась, что он снова крысятничал у нее в кладовой. Но даже она в конце концов поддалась его обаянию. Казалось, ветер всё время носил Дункана туда-сюда, но он неизменно оказывался там, где хотел.

И даже Морган [Форстер] по крайней мере один раз, по пути на поезд, заглянул в «Блумсбери» на Фицрой-сквер. Кажется, при нем был тот самый черный саквояж с латунной биркой, который и сейчас стоит в прихожей. У меня было ощущение, что на диван присела бабочка — бледно-голубая, сказала бы я, — и одно неловкое движение пальцем могло спугнуть ее навсегда. Он говорил об Италии и колледже для рабочих, а я с глубочайшим интересом слушала его, ведь

---

[32] Примечания: 32

Катер, арендованный Уолтером Лэмбом — сокурсником Леонарда Вулфа, Клайва Белла и Литтона в Кембридже — для прогулки по реке Кам по случаю вечеринки 7 июня 1911 года.

он был единственным романистом, которого я знала лично, если не считать Генри Джеймса и Джорджа Мередита, — единственным, кто писал о людях вроде нас. Но я слишком боялась пошевелиться и спугнуть бабочку, чтобы говорить. Я словно наблюдала за ним из-за живой изгороди, когда он со своим саквояжем появлялся на Гордон-сквер — чудаковатый, непредсказуемый, спешащий на поезд.

Эти люди, включая Мейнарда — крайне язвительного и грозного, словно Толстой в молодости, способного вмиг разбить в пух и прах любой аргумент, но при этом скрывающего, как говорят романисты, под своей внушительной интеллектуальной броней доброту и простодушие — и Нортона, который был воплощением всего, что у меня ассоциировалось с Кембриджем, невероятно способного, честного, неказистого, сухого; Нортона, с которым я однажды проговорила всю ночь, а на рассвете отправилась в Ковент-Гарден — в моих воспоминаниях он по-прежнему хмурится в своем желтом пенсне на фоне роз и гвоздик, — эти люди были главными фигурами «Блумсбери» до войны.

Однако встает ряд вопросов: где заканчивается «Блумсбери»? Что представляет собой этот круг?

Включает ли он, например, Бедфорд-сквер? До войны, я думаю, большинство из нас ответили бы утвердительно. Когда-нибудь напишут историю «Блумсбери» — а есть ли лучшая тема для следующей книги Литтона? — и в ней обязательно найдется глава, пусть даже в приложении, об Оттолин [Моррелл]. Впервые она появилась среди нас, кажется, в 1908 или 1909 году. Из своего дневника я узнала, что ужинала с ней 30 марта 1909 года — вероятно, впервые. Но за несколько недель до этого она нагрянула на один из наших *четверговых вечеров* вместе с Филиппом [Морреллом], Огастесом Джоном и Дорелией [Макнил], а на следующее утро написала письмо с просьбой сообщить ей имена и адреса всех «моих замечательных друзей». За этим последовало приглашение прийти в гости на Бедфорд-сквер в любой удобный четверг около десяти часов вечера и привести с собой кого угодно. Я взяла Руперта Брука. И вскоре нас всех закрутило в тот необыкновенный водоворот, где ненадолго пересекались самые эксцентричные личности. Там был Огастес Джон, зловещий в бархатном сюртуке и черном шейном платке; Уинстон Черчилль — румяный, в золотых галунах и медалях, по пути в Букингемский дворец; Рэймонд Асквит,

сыпавший эпиграммами; Фрэнсис Додд, весьма красочно рассказывавший мне, как они с тетей Сьюзи травили полчища клопов, ползавших по потолку: она держала лампу, а он — тазик с керосином. На одном конце дивана сидел лорд Генри [Кавендиш–]Бентинк, на другом, кажется, Нина Лэмб. У камина стоял Филипп, как раз вернувшийся из Палаты общин и бормотавший что-то себе под нос. Был еще Гилберт Кэннан, по слухам, влюбленный в Оттолин, а также Берти Рассел, в которого, опять же по слухам, была влюблена она сама. Но прежде всего там была Оттолин.

Леди Оттолин, — писала я в дневнике, — знатная дама, разочарованная в своем социальном классе и пытающаяся найти то, что ей нужно, в кругу художников и писателей. Вот почему — словно эти люди наделены чем-то божественным — она обращается к ним особым образом, а они видят в ней своего рода бестелесный дух, вырвавшийся из своего мира в тот, где ему никогда не пустить корни. Ее внешность необыкновенна, если не сказать красива. Как и большинство пассивных людей, она с особой тщательностью и вычурностью окружает себя вещами. Она прилагает максимум усилий, чтобы подчеркнуть свою красоту, словно это редкая изысканная вещица,

найденная в темном флорентийском переулке. Всегда кажется, что богатые американки, которые щупают ее персидский плащ и называют его «хорошеньким», могут пойти дальше — потрогать ее лицо и назвать его произведением позднего Ренессанса: лоб и глаза великолепны, а подбородок, возможно, отреставрирован. Бледность ее щек, манера откидывать голову и безучастный взгляд придают ей вид мраморной Медузы. Она удивительно пассивна.

Дальше я продолжаю восторженно восклицать и говорить, что ее дом был полон «блеска и иллюзий».

Когда вспоминаешь ту гостиную — полную людей, бледно-желтой и розовой парчи, итальянских кресел, персидских ковров, вышивок, кисточек, ароматов, гранатов, мопсов, попурри — и Оттолин, плывущую издалека в белой шали с большими алыми цветами, уводящую тебя прочь от толпы в маленькую комнату, где она настойчиво засыпает тебя глубоко личными вопросами о жизни и друзьях и велит расписаться в маленьком надушенном блокноте (только на прошлой неделе я расписалась в другом таком же блокноте на Гауэр-стрит), — думаешь, что мое волнение вполне простительно.

Незадолго до войны «Блумсбери» действительно был полон блеска и иллюзий. Мы больше не были аскетичными и возвышенными. Мы ссорились, плели интриги. Возможно, Оттолин и была Медузой, но не пассивной. Она обладала удивительным даром затягивать людей в свой круг. Говорят, что даже Марри пал жертвой ее обаяния — прямо среди овощных грядок в Гарсингтоне. К тому времени мы уже давно перестали быть серыми и скучными — наши *четверговые вечера* с их молчанием и спорами остались в прошлом, а их место заняли вечеринки совершенно другого рода. Движение постимпрессионистов бросило на нас не тень, а целый букет разноцветных огней. Мы покупали пуансеттии из алого плюша, шили себе яркие хлопчатобумажные платья, которые так нравятся негритянкам, наряжались в образы с картин Гогена и расхаживали по Кросби-холлу[33]. Миссис Уайтхед была шокирована и говорила, что мы с Ванессой практически голые. Призрак моей матери вновь явился в лице Вайолет Дикинсон и выразил сожаление по поводу

[33] Примечания: 33

Историческое здание в Лондоне, где в 1911 году проводился бал в честь окончания выставки «Мане и постимпрессионисты», подготовленной Роджером Фраем в галерее Графтон, где среди прочих были представлены тогда еще малоизвестные Ван Гог, Гоген и Пикассо.

того, что я сняла дом на Брунсвик-сквер и пригласила туда жить молодых людей[34]. Джордж Дакворт проделал путь аж с Чарльз-стрит, чтобы умолять Ванессу убедить меня отказаться от этой затеи, и, вероятно, был еще более потрясен, когда она ответила, что, в конце концов, приют для умалишенных совсем рядом — за углом. Поползли слухи, что мы устраиваем голые вечеринки. Логан Пирсолл Смит рассказывал Этель Сэндс, что ему доподлинно известно, что Мейнард совокуплялся с Ванессой на диване посреди гостиной. «Блумсбери» называли бессердечным, аморальным, циничным обществом; нас — падшими женщинами, а наших друзей — никчемными молодыми людьми.

И всё же, несмотря на Логана, миссис Уайтхед и то, чем Ванесса и Мейнард занимались на диване на Брунсвик-сквер, «Старый Блумсбери» еще жив. Если вам нужны доказательства — просто оглянитесь.

---

[34] Примечания: 34

В 1911–1912 годах Вирджиния делила дом 38 по Брунсвик-сквер с Адрианом, Мейнардом Кейнсом, Дунканом Грантом и Леонардом Вулфом.

Сноб ли я?

Молли [Маккарти], как мне кажется, крайне несправедливо возложила на меня бремя выступления с мемуарами сегодня вечером. Мы, конечно, прощаем Молли всё на свете благодаря ее сногсшибательному обаянию. И тем не менее это несправедливо. Сегодня не моя очередь, и я не самая старшая среди нас, не та, кто прожила интересную жизнь и накопила больше всего воспоминаний. Мейнард, Дезмонд, Клайв и Леонард ведут более насыщенную, активную жизнь, постоянно имеют дело с великими людьми и как-никак влияют на ход истории. Это им следует распахнуть двери своих сокровищниц и явить нам те сверкающие драгоценности, которые спрятаны внутри. Кто я такая, чтобы меня просили читать мемуары? Всего лишь писака, а что еще хуже — просто мечтательница-дилетантка; ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса. Источник моих мемуаров, которые всегда носят сугубо личный характер и в лучшем случае повествуют лишь о предложениях руки и сердца, о совращении со стороны единоутробных братьев, о встречах

с Оттолин и тому подобном, вскоре иссякнет. Теперь никто не просит моей руки и уже много лет не пытается меня совратить. Премьер-министры не спрашивают моих советов. Дважды я была в Хендоне[35], но каждый раз аэроплан отказывался взлетать. Да, я побывала во многих европейских столицах; худо-бедно изъясняюсь на ломаном французском и убогом итальянском, но я настолько невежественна и плохо образована, что стоит кому-то задать самый простой вопрос — например, где находится Гватемала? — как мне тут же приходится менять тему разговора.

И всё же Молли попросила меня подготовить доклад. «О чем?» — спросила себя я. И тут мне показалось, что пришло время, когда мы — старые чудаки, невежды, отшельники — должны задаться этим вопросом: о чем — коль скоро Мемуарный клуб по-прежнему собирается, а половину его членов составляют люди вроде меня, с которыми никогда ничего не происходит, — о чем же нам писать мемуары? Осмелюсь ли я предположить, что настал момент вольно толковать слова Молли и, вместо того чтобы направлять свет фонаря памяти на реальные события и чувства, обратить

[35] Примечания: 35

Микрорайон лондонского боро Барнет. Вирджинии и Леонарду предложили полетать на аэроплане, но из этого ничего не вышло.

этот луч внутрь самих себя?

Неужели я говорю только за себя, когда утверждаю, что, хотя с тех пор, как я в последний раз занимала это дискомфортное ораторское кресло, со мной не случилось ничего, что можно было бы назвать событием, я всё еще кажусь себе предметом неиссякаемых захватывающих волнений — вечно извергающимся вулканом? Неужели я одинока в своем эгоизме, когда говорю, что едва первые отблески рассвета проникают сквозь шторы дома 52 по Тависток-сквер, я открываю глаза и восклицаю: «Боже мой! Я снова здесь!» — и не всегда с радостью, часто с болью, порой с острым отвращением, но всегда — всегда с интересом?!

Да, я могла бы стать предметом собственного доклада, но есть проблема. Данная тема разрослась бы до стольких томов, что те из нас, у кого еще растут волосы, успели бы дождаться, пока они достигнут пола и начнут щекотать пальцы ног, прежде чем я бы закончила. Мне нужно выделить крошечный фрагмент этой необъятной темы и на мгновение бросить взгляд в маленький уголок этой вселенной, которая по-прежнему кажется мне столь же безбрежной и полной тигров, как и та другая под названием Гватемала, местонахождение которой мне неизвестно. Мне лишь нужно,

говорю я себе, выбрать один аспект и задать всего один вопрос. И вот он: «Сноб ли я?»

Пытаясь ответить на этот вопрос, я, возможно, воскрешу в памяти несколько воспоминаний, а заодно пробужу и кое-какие ваши. В любом случае я постараюсь изложить факты, и хотя, конечно, не скажу всей правды, возможно, этого будет достаточно, чтобы вы догадались. Но чтобы ответить на один вопрос, надо сперва задаться другим: «А кто такой сноб?» И поскольку я не умею анализировать, а моим образованием когда-то пренебрегли, я пойду простым путем и попытаюсь найти объект, с которым смогу себя сравнить. Например, Дезмонд. Разумеется, первым на ум приходит именно он. Сноб ли Дезмонд?

Весьма вероятно. Он получил образование в Итоне, а затем поступил в Кембридж. Все мы знаем старую фразу о том, что благодарные ученые ценят аристократию, но какой бы вклад ни внесли Итон и Кембридж в развитие его снобизма, природа сделала гораздо больше. Она наделила его всеми талантами, которые благодарная аристократия ценит в ученых, — красноречием, прекрасными манерами, безупречным самообладанием, безграничным любопытством,

смешанным с сочувствием. К тому же он прекрасно держится в седле и при необходимости может подстрелить фазана. Что же касается бедности, то, поскольку Дезмонда никогда не заботило, как он одет, остальных это тоже не волновало. Итак, перед нами, несомненно, достойный образец. Позвольте мне сравнить себя с ним.

Мы стояли у окна в гостиной на Тависток-сквер, когда я задумалась об этом. Дезмонд обедал с нами; мы провели весь день за разговорами, и вдруг он вспомнил, что должен с кем-то ужинать. Но с кем? «С кем же я ужинаю?» — спохватился он и достал записную книжку. Что-то на мгновение отвлекло Дезмонда, и тогда я заглянула ему через плечо и украдкой пробежалась по его записям. Понедельник — леди Бессборо, 20:30. Вторник — леди Анкастер, 20:30. Среда — Дора Сэнгер, ровно в 19:00. Четверг — леди Солсбери, 22:00. Пятница — обед у Вулфов и ужин у лорда Ревелстока, белый жилет. «Белый жилет» подчеркнуто дважды. Годы спустя я узнала почему — в тот вечер он должен был встретиться с нашим ныне покойным королем Георгом. Дезмонд взглянул на список, закрыл записную книжку и ушел. Ни слова о пэрах. Он ни разу не упомянул ни Ревелстока, ни белый жилет. «Нет, — сказала

я себе с острым чувством разочарования, когда за Дезмондом закрылась дверь, — увы, он не сноб».

Придется поискать другой образец. Возьмем Мейнарда. Он тоже учился в Итоне и Кембридже. С тех пор он поучаствовал в стольких великих делах, что если бы вздумал потрясти перед нами списком своих встреч, то мы бы оглохли от звона корон и ослепли от блеска бриллиантов. Но разве мы оглохли? Ослепли? Увы, нет. Подчинясь, как мне кажется, железной дисциплине старого Кембриджа и тому нравственному чувству, которое с годами лишь крепнет в нем, своему непреклонному стремлению сохранить наше поколение в целости, а заодно уберечь молодежь от безрассудства, Мейнард никогда не хвастается. Именно мне приходится сообщать вам, что сегодня он обедал с премьер-министром. Бедный старик Болдуин со слезами на глазах водил его туда-сюда между портретами Питта и Пиля[36]. «Если бы только, — повторял он, — вы согласились войти в состав кабинета министров, Кейнс, или принять пэрство, Кейнс…» Да, именно я рассказываю вам эту историю. Сам Мейнард не сказал бы ни слова.

---

[36] Примечания: 36

Болдуин — действующий на тот момент премьер-министр, Питт-старший, Питт-младший и Роберт Пиль занимали эту должность в XVIII–XIX веках.

О свиньях, пьесах, живописи — обо всем этом он говорит охотно, но о премьер-министрах и пэрстве — никогда. Увы и ах — Мейнард не сноб. И снова я сбита с толку.

Тем не менее я сделала важное открытие. Суть снобизма заключается в желании произвести впечатление на других. Сноб — это легкомысленное взбалмошное существо, настолько не удовлетворенное собственным положением, что оно постоянно кичится своими титулами и наградами перед окружающими, дабы те поверили и помогли ему самому поверить в то, во что на самом деле ему не очень-то верится — в свою какую-никакую значимость.

У меня есть этот симптом. Вот вам доказательство — письмо. Почему оно лежит поверх стопки? Потому что на нем герб, и, если я получаю письма с гербом, они всегда чудесным образом оказываются на виду. Я часто спрашиваю себя: почему? Ведь я прекрасно знаю, что никто из моих друзей никогда не был и не будет впечатлен моими попытками произвести на них впечатление. И всё же я кладу эти письма наверх — смотрите. Оно, словно сыпь или прыщ, выдает мою болезнь, и я продолжаю задаваться вопросом: когда и как я ей заразилась?

В детстве у меня, безусловно, были поводы для снобизма, потому что, хотя внешне мы казались интеллектуальной семьей, имевшей, как обычно пишут в книгах, благородное происхождение, у нас всё же были связи с бомондом. Через Джорджа Дакворта, например. Однако его снобизм казался настолько явным и грубым, что я чуяла его за милю. И мне это не нравилось. Болезнь настигла меня окольным путем и прежде всего через Китти Макс, я полагаю, — леди с утонченным обаянием и неземной грацией, поэтому великие люди, с которыми она меня знакомила, были словно опрысканы и продезинфицированы, то есть лишены грубости. Кто бы осмелился назвать грубыми маркизу Бат и ее дочерей, леди Кэтрин и Беатрису? Это немыслимо. Они были красивы и величественны; одевались, конечно, безвкусно, но держались великолепно. Когда мы обедали или ужинали со старой леди Бат, я сидела, дрожа от восторга — экстаза, который, вероятно, был абсолютно снобистским и представлял собой смесь удовольствия, ужаса, смеха и изумления. Леди Бат восседала во главе стола, на спинке ее стула красовались резная корона и герб Тиннов[37], а ря-

[37] Примечания: 37

Потомки сэра Джона Тинна, жившего в XVI веке, стали маркизами Бата.

дом с тарелкой на двух подушечках лежали часы Waterbury. Она периодически сверялась с ними. Зачем? Не знаю. Имело ли время для леди Бат какое-то особое значение? Не знаю — казалось, у нее его вдоволь. Она часто задремывала, а потом просыпалась и смотрела на часы. Возможно, ей просто нравилось это делать. Ее безразличие к общественному мнению интриговало и восхищало меня. То же можно сказать и о ее разговорах с дворецким Миддлтоном.

За окном проезжал экипаж.

— Кто это едет? — вдруг спрашивала она.

— Леди Саффилд, моя госпожа, — отвечал Миддлтон, а леди Бат смотрела на часы.

Помню, однажды в разговоре прозвучало слово «мергель».

— Миддлтон, а что такое мергель?

— Смесь известняка и глины, моя госпожа, — сообщил ей Миддлтон.

Тем временем Кэти схватила обглоданную кость и стала кормить собак. Сидя там, я ощущала, что этим людям совершенно безразлично чье-либо мнение. Вот она — человеческая натура в ее первозданном, неотесанном, естественном виде. «У них есть нечто такое, — думала я, — чего нам в Кенсингтоне очень не хватает». Возможно,

я просто ищу себе оправдание, но именно в этом и крылась причина моего снобизма, который теперь заставляет меня класть особенные письма поверх остальных: аристократы свободнее, естественнее, эксцентричнее нас. И тут я замечаю, что мой снобизм отнюдь не связан с интеллектом. Леди Бат была донельзя проста, а Кэти и Беатриса всегда писали с ошибками. Уилл Ротенштейн и Эндрю Лэнг были ярчайшими фигурами в своем интеллектуальном мире, но ни один из них не произвел на меня впечатления. Если спросить, с кем бы я предпочла познакомиться — с Эйнштейном или принцем Уэльским, — я без колебаний выберу принца.

Мне нужны гербы, но они должны принадлежать настоящим знатным особам, владеющим землями и загородными поместьями; простодушным, эксцентричным, непринужденным и настолько уверенным в своем положении, что могут обложить тарелку часами Waterbury и собственноручно кормить собак костями с тарелки. Не успела я это сказать, как вынуждена поправить себя. Вот письмо, свидетельствующее против меня. Да, на нем есть герб, но это не делает отправительницу знатной: ее происхождение не выше, а возможно, даже ниже моего собственно-

го. И всё же, когда я получила это письмо, меня охватил трепет. Я прочту его вам.

Дорогая Вирджиния,

я уже немолода, и, поскольку все мои друзья либо умерли, либо при смерти, мне бы очень хотелось увидеться с вами, чтобы попросить о большом одолжении. Вы, наверное, посмеетесь, когда узнаете, о чем идет речь, но если согласитесь пообедать со мной наедине 12-го или 13-го, 17-го или 18-го, то я вам всё расскажу. Нет, *не стану*. Уж лучше подожду, пока вы ответите, сможете ли вы в *какой-нибудь* из этих дней увидеться со своей почитательницей…

Марго Оксфорд

Я сразу же ответила, хотя редко так делаю, что я полностью к услугам леди Оксфорд и выполню всё, о чем бы она ни попросила. Долго ждать не пришлось, и вскоре пришло второе письмо.

Дорогая Вирджиния,

думаю, стоит заранее предупредить вас о просьбе, с которой я хочу обратиться. Все мои друзья либо при смерти, либо уже

умерли, и я осознаю, что мои дни тоже сочтены. Самым большим комплиментом из всех немногих, что мне когда-либо делали, были ваши слова о том, что я хорошая писательница. *Эти ваши слова,* должно быть, вскружили мне голову, ведь вы, без сомнения, величайшая из ныне живущих писательниц. Когда меня не станет, мне бы хотелось, чтобы вы написали небольшую заметку в *The Times* и сказали, что восхищались моим стилем и что газетчики могли бы получше ко мне относиться. Я вовсе не тщеславна, но мне было больно, когда редакторы сперва *принимали* мои статьи, а потом *отказывались* от них. Возможно, это покажется мелочью – так оно и есть, – но я бы хотела с *вашей* помощью получить признание в прессе. Если эта просьба вас тяготит, забудьте о ней. Но если вы всё же напишете несколько добрых слов, это принесет радость моей семье, когда меня уже не будет.

Ваша неизменная поклонница,

Марго Оксфорд

P. S. Вы бы могли отправить заметку редактору Доусону в *The Times,* поскольку он хранит и ценит все материалы о тех, кто покинул этот мир.

Не думаю, что мне польстило оказаться величайшей писательницей в глазах леди Оксфорд, но я была польщена приглашением пообедать с ней наедине. «Конечно, я приду на обед», — ответила я. И я была довольна, когда в тот самый день ко мне подошла Мэйбл, наша суровая кухарка, и сказала: «Леди Оксфорд прислала за вами машину, мэм». Очевидно, я произвела на нее впечатление и была довольна собой. Я поднялась в собственных глазах, потому что поднялась в глазах Мэйбл.

Когда я приехала на Бедфорд-сквер, там уже шел большой званый обед. Марго была разодета, а на ее груди пылал рубиновый крест, усыпанный бриллиантами; она сделала завивку и была ретивой, как греческая лошадка, но при этом едкой и резкой, как гадюка или аспид. Филипп Моррелл первым почувствовал ее укус. Он сказал какую-то глупость, и она его осадила, но вскоре взяла себя в руки. Она блистала. Сыпала историями о герцоге Бофорте и охоте в Бадминтон-хаусе; о том, как

получила оксфордскую спортивную награду; о леди Уорик и [принце Уэльском?], о леди Рипон, леди Бессборо, лорде Бальфуре и «Душах»[38]. О возрасте, смерти и некрологе для *The Times* — ни слова. Я уверена, что она напрочь обо всем забыла. И я тоже. Я была заворожена. Мы тепло обнялись в холле, а дальше я помню лишь то, как иду по Фаррингдон-роуд, разговаривая сама с собой, и сквозь пелену, похожую на золотую пыль или брызги шампанского, вижу мясные лавки и лотки с дешевыми игрушками.

Ни одна встреча интеллектуалов не заставляла меня воспарить над Фаррингдон-роуд. Я ужинала с [Гербертом] Уэллсом в компании Бернарда Шоу, Арнольда Беннетта и Гренвилла-Баркера, но при этом ощущала себя всего лишь старой прачкой, медленно и с трудом поднимающейся по бесконечной крутой лестнице.

Таким образом, я, похоже, пришла к выводу, что являюсь снобом не только в отношении гербов, но и освещенных гостиных и светских приемов. Любая группа людей, если они хорошо одеты, блистательны в разговоре и незнакомы мне, способны вызвать этот эффект, и тогда возникает

---

[38] Примечания: 38

The Souls — элитарный интеллектуально-художественный кружок в Великобритании конца XIX — начала XX века.

та самая золотистая пелена, которая, как мне кажется, затмевает истину. Вот еще одно письмо, которое, возможно, прольет свет на другие аспекты этой проблемы.

Примерно двенадцать лет назад, когда мы еще жили в Ричмонде, я получила одно из тех мимолетных посланий, с которыми мы все теперь хорошо знакомы: желтоватый лист бумаги с витиеватым, словно пируэты пьяного на льду, почерком и финальными каракулями, складывающимися в подпись «Сивилла Коулфакс». «Мне было бы очень приятно, — гласило письмо, — если бы вы пришли на чай, — а дальше следовал список возможных дат, — чтобы встретиться с Полем Валери[39]». Сколько себя помню, я то и дело виделась с Полем Валери или кем-то подобным, так что приглашение на чай от Сивиллы Коулфакс, с которой я не была знакома и никогда не встречалась, не показалось мне заманчивым. А если и показалось, то этому мешало другое обстоятельство, о котором мне немного неловко говорить, — мой комплекс по поводу одежды, в частности подтяжек. Я ненавижу быть плохо одетой, но в равной степени ненавижу покупать

[39] Примечания: 39

Вирджиния утверждает, что она отклонила предложение встретиться с Валери, но в действительности согласилась.

одежду. Особенно подтяжки. Отчасти, полагаю, причина в том, что для их покупки приходится заходить в ту самую укромную комнатку в глубине магазина, где ты остаешься в одной сорочке в присутствии женщин в блестящем черном атласе, которые украдкой подглядывают и хихикают. Какие бы выводы ни напрашивались из моего признания — а они, боюсь, не слишком лестны, — я ужасно стесняюсь находиться в одной сорочке перед другими женщинами. В те времена, двенадцать лет назад, юбки были короче, а значит, и чулки должны были быть безупречны. Я же ходила в старых подтяжках и не могла решиться купить новые, не говоря уже о шляпе или пальто. Поэтому я ответила: «Нет, я не приду на чай ради встречи с Полем Валери». И тогда приглашения посыпались одно за другим — я уже и не помню, на сколько чаепитий меня звали. В конце концов ситуация стала безвыходной — пришлось купить новые подтяжки и принять приглашение (примерно пятидесятое) в Аргайл-хаус. На сей раз мне предстояло встретиться с Арнольдом Беннеттом.

Аккурат накануне вечеринки в *The Evening Standard*[40] вышла рецензия Беннетта на одну из

[40] Примечания: 40

40) Британская ежедневная вечерняя газета, издающаяся в Лондоне с 1827 года.

моих книг. Кажется, на «Орландо». Он подверг ее резкой критике, назвав роман никчемным и развеявшим все его надежды в отношении меня как писательницы. Он посвятил моему разгрому всю свою колонку. Я, конечно, очень тщеславна, но, в отличие от леди Оксфорд, мое тщеславие как писательницы носит чисто снобистский характер. Я подставляю рецензенту бесчувственный фасад, но почти никогда — реальную плоть и кровь, то есть рецензии волнуют меня лишь потому, что я думаю, будто мои друзья считают, что мне есть до этого дело. Но поскольку я точно знаю, что друзья почти мгновенно забывают рецензии — и хвалебные, и разгромные, — спустя несколько часов забываю о них и я. Моих настоящих чувств, плоти и крови они не задевают. Действительно ранит лишь та критика, которая высказывается лично, а не в печати.

Поскольку с момента прочтения рецензии прошло уже двадцать четыре часа, я вошла в гостиную Аргайл-хауса куда больше озабоченная своим внешним видом как женщина, чем репутацией как писательница. В тот вечер я впервые увидела Сивиллу и сравнила ее с гроздью красных вишен на жесткой черной соломенной шляпке. Она встретила меня и подвела к Арноль-

ду Беннетту, словно ягненка к мяснику.

— А вот и миссис Вулф! — с улыбкой сказала она.

Как хозяйка, она откровенно ликовала, предвкушая сцену, которая прибавит Аргайл-хаусу славы. Другие гости тоже, казалось, чего-то ждали — все улыбались. Но я заметила, что Арнольду Беннетту тоже неловко. Он был добрым человеком, всерьез относился к своим рецензиям, а теперь пожимал руку женщине, которую, по его же словам, «поносил» накануне вечером.

— Мне жаль, миссис Вулф, — начал он, — что я вчера поносил вашу книгу…

Он запнулся. А я совершенно искренне выпалила:

— Если я решаю публиковать книгу, это уже мое личное дело. Я сама должна нести за это ответственность.

— Верно, верно, — пробормотал он, кажется, одобряя мои слова. — Мне не понравилась ваша книга, — продолжил Беннетт. — Я счел ее очень плохой… — он снова запнулся.

— Вы вряд ли ненавидите мои книги больше, чем я ненавижу ваши, мистер Беннетт, — сказала я.

Не знаю, понравились ли ему эти слова, но

мы сели рядом, поговорили и действительно поладили. Мне было приятно позже узнать из опубликованных писем, что он хвалил меня за то, что я не держу на него зла; по его словам, мы отлично ладили.

Но суть не в этом. Я лишь хочу сказать, что эта сценка доставила Сивилле удовольствие и, если так можно выразиться, стала основой для моего с ней сближения — с оговорками, конечно. Меня тут же повысили в статусе: от чая — к еде. Сначала это были обеды, а когда я отказалась от обедов — ужины. Я несколько раз принимала приглашения, но постепенно стала замечать, что меня неизменно зовут познакомиться с каким-нибудь писателем, а я этого не хотела. Слева от меня мог сидеть, например, Ноэль Кауард, а справа всегда оказывался сэр Артур [Коулфакс]. Последний был очень любезен, всячески старался развлечь меня, но почему-то считал, что меня прежде всего интересует Акт о красителях[41], и наши разговоры всякий раз сводились к этому Акту. В какой-то момент я стала вторым по значимости специалистом в Англии по данному вопросу. Но

[41] Примечания: 41

Английский закон, регулирующий импорт синтетических красителей, принятый (1920) для защиты национальной химической промышленности после Первой мировой войны.

однажды, сидя за столом с Ноэлем Кауардом и сэром Артуром, я почувствовала, что больше не могу заставить себя ходить на ужины к Сивилле. Я начала отказываться, но чем сильнее я сопротивлялась, тем настойчивее она приглашала. Тогда Сивилла сама вызвалась прийти ко мне в гости. И пришла. И снова мой снобизм дал о себе знать. Я купила глазированные пирожные, прибралась в комнате, выбросила косточки Пинкер[42] и натянула чехлы на дырявые стулья. Но вскоре я поняла, что ее снобизм требует другого — подгоревшей выпечки и творческого беспорядка, а еще лучше, если бы мои пальцы были в чернилах. На этой почве у нас и завязалась близость. Она восклицала: «Как же я хочу быть писательницей!» А я отвечала: «О Сивилла, вот бы я могла быть такой же замечательной хозяйкой, как вы!» Ее рассказы о светской жизни меня очень забавляли, а я в ответ рисовала перед ней мрачные, хотя и вымышленные картины своих мучений с английской прозой. По мере того как крепла наша близость — можно ли это назвать близостью? разве снобы бывают с кем-то близки? — она стала садиться на пол, задирать

[42] Примечания: 42
Кокер-спаниель Вулфов.

юбки и поправлять панталоны — между прочим, у нее всего один предмет нижнего белья, и тот шелковый. Потом она начала изливать свои обиды. Чуть ли не со слезами на глазах жаловалась, как Осберт Ситуэлл смеялся над ней и как люди называли ее честолюбивой охотницей за светскими львами. Говорила, что это гнусная ложь… ведь она всего лишь хотела сделать Аргайл-хаус местом, где интересные люди могли бы встречаться друг с другом. И всё же над ней смеялись… издевались. Однажды, в разгар одного из таких откровений, которые, к слову, мне очень льстили, зазвонил телефон. Дворецкий леди Кунард пригласил меня на ужин к ее светлости, хотя мы даже не были знакомы. Когда я поделилась этим с Сивиллой, она пришла в ярость. «Никогда не слышала большей наглости!» — воскликнула она. Ее лицо исказила гримаса, напомнившая мне морду тигрицы, у которой вырывают из пасти добычу. Она на чем свет стоит поносила леди Кунард, но ни одно бранное слово не казалось ей достаточно обидным. Сивилла называла ее охотницей на светских львов и снобом. Потом была история с леди Чамли, которая попросила меня навестить ее. «А кто такая леди Чамли?» — спросила я. Никогда не забуду, с каким неистовым усердием

Сивилла разносила в пух и прах репутацию этой дамы. Помнится, она говорила, что не понимает, как можно быть настолько наглой, чтобы приглашать к себе на ужин совершенно незнакомого человека. Она настоятельно советовала мне не иметь ничего общего ни с леди Кунард, ни с леди Чамли. Хотя сама поступала точно так же, как они. И в чем тогда разница между ними?

Короче говоря, в нашей близости, несмотря ни на что, было много интересного. Отношения развивались, и вскоре Сивилла предложила план, на который я так и не решилась. Суть заключалась в том, чтобы раз в две недели устраивать вечеринки — то на Тависток-сквер, то в Аргайл-хаусе. Каждая из нас должна была приглашать по четыре друга, чтобы «Блумсбери» и высший свет перемешались. Сивилла, как мне показалось, деликатно намекнула, что возьмет на себя все расходы, но даже в минуты упоения нашим общением я понимала, что из этого ничего не выйдет. Один раз я привела Литтона, и вечеринка с треском провалилась. Литтон был чрезвычайно любезен и терпелив, но, уходя, сказал мне: «Умоляю, никогда больше не проси меня встречаться с Коулфакс».

Между нами установилась определенная откро-

венность. Однако Сивилла без стеснения срывала все наши встречи, и каждый раз выяснялось, что ее отговорки означали только одно: она получала более заманчивое приглашение. Вот один из таких случаев. Она сама назначила день визита, и, хотя мне было неудобно, я согласилась.

> Дорогая Вирджиния,
>
> у меня была тяжелая неделя: я выходила по делам в десять, а не в девять, и возвращалась в постель к шести. Я надеялась, что ко вторнику приду в себя, но одна капризная дама вызвала меня выбирать шторы для спальни на Пикадилли в 17:30. Встреча затянулась до 18:15, и после этого я окончательно слегла! Мне уже лучше, но теперь ты занята. Могу ли я приехать 18-го или пригласить тебя 16-го в шесть? Если не сможешь принять меня 18-го, то я могу и 23-го.
>
> ***Всегда преданная тебе, Сивилла***

На следующий день после этого письма я встретила женщину, которая была на коктейльной вечеринке у мадам д'Эрлангер и там познакомилась с Сивиллой. «А о шторах для спальни вы

говорили?»[43] — спросила я. Очевидно, никаких штор не было.

Я часто попрекала ее этим случаем, а она даже не пыталась оправдываться. Но однажды, когда я поступила с ней так же — отменила встречу, хотя и предупредила за три недели, — мне пришла целая серия писем. Сила обвинений и искренность гнева, с которыми она обрушилась на меня, поистине впечатляли. Леди Коулфакс приписывала мне самые низменные мотивы — мол, я поддалась на более заманчивое приглашение и, разумеется, ужинала с леди Кунард или леди Чамли. Ее письма достигли такого уровня красноречия, что даже завораживали. Свет, который вся эта история пролила на психологию Сивиллы, на мою собственную и на снобизм как явление, обнажил весьма любопытную вещь. Почему же мы продолжили встречаться? Я задумалась. В чем, собственно, заключалась суть наших отношений? Ответ был получен самым неожиданным образом.

Однажды утром в феврале этого года, вскоре после завтрака, зазвонил телефон, и Леонард

---

[43] Примечания: 43

В течение нескольких лет Сивилла Коулфакс занималась бизнесом по декорированию интерьеров. В рукописи этот небольшой абзац многократно исправлен.

снял трубку. Я видела, как менялось его лицо, пока он слушал.

«Боже правый! — воскликнул он. — Быть не может!»

Затем он повернулся ко мне и сказал: «Умер Артур Коулфакс!»

На другом конце провода был Гарольд Николсон: он звонил сообщить, что Артур Коулфакс скоропостижно скончался накануне днем[44]; ему внезапно стало плохо, и Сивилла, по его словам, совершенно разбита. Сэр Артур мертв! Будто пощечина — неожиданная, болезненная. Прилив искреннего удивления и сочувствия. Но не к сэру Артуру — к нему я испытывала те же чувства, что и к старому секретеру, который всегда стоял посреди гостиной. Секретер исчез — удивительно, конечно, и печально, но никаких особенных чувств я к нему не питала, в отличие от Сивиллы, с которой мы были близки. И к ней, повторюсь, я испытала подлинное, ничем не замутненное сочувствие. Но едва возникнув, оно тут же распалось на части. Мне было искренне жаль ее, но в то же время я ощутила острое любопытство. Что она чувствовала? Какие на самом деле были ее

---

[44] Примечания: 44

Муж леди Коулфакс умер 19 февраля 1936 года.

чувства к Артуру?

А когда чувства смешаны, их трудно выразить словами. В подтверждение тому — моя попытка написать письмо с соболезнованиями. Я растерялась и не могла подобрать ни слова. Я писала и переписывала, но в итоге разорвала все черновики. На выходные мы уезжали в Монкс-хаус; я сорвала три цветка, перевязала их ленточкой и прикрепила карточку с надписью «Сивилле. С любовью от Леонарда и Вирджинии». Проезжая мимо Аргайл-хауса, Леонард позвонил в дверь этого окутанного трауром особняка и передал цветы заплаканной [горничной] Филдинг. По крайней мере, она выглядела по-настоящему сраженной горем. Так я решила свою проблему.

И, похоже, способ оказался на удивление удачным. Через несколько дней я получила четырехстраничное письмо, полное горя — об Артуре и их счастье; о былых временах, когда они сидели на греческих островах под солнцем; о совершенстве их брака и ее нынешнем одиночестве. Письмо звучало искренне, словно Сивилла говорила правду, и мне даже немного польстило, что она так доверительно, откровенно и даже пылко поделилась этим со мной.

[И всё же, когда Сивилла пригласила меня по-

ужинать наедине, я поняла, что не вынесу этого. Чувства словно опять распались на части, и при мысли о том, что мне предстоит целый вечер говорить об Артуре, я отказалась. Я подумала: «Нет. Она поймет, что я неискренна». Я сочинила какую-то отговорку и решила переждать, пока время не притупит потребность в искренних чувствах.][45]

Позже мне было неприятно узнать, что похожие письма Сивилла писала людям, которых едва знала. Когда я узнала, что после смерти мужа она каждый вечер бывала на званых ужинах, а потом прочла в газетах, что леди Коулфакс присутствовала на очередном приеме или премьере, я была озадачена. Неужели она горевала меньше, чем показывала? Или это была бравада? Неужели общество так закалило Сивиллу, что она не могла вынести лишь одного — одиночества? Любопытная загадка психологии снобизма.

Она писала мне несколько раз. Сообщала, что покидает Аргайл-хаус. Просила приехать и в последний раз взглянуть на цветущий боярышник — я не поехала. Потом — на тюльпаны, но мы были в отъезде и снова не смогли. В октябре,

[45] Примечания: 45

Этот абзац, вычеркнутый Вулф из рукописи, мы включаем в публикацию вслед за первым редактором эссе Д. Шулькинд.

когда я вернулась, она написала, что если я не приеду во вторник двадцать седьмого, то больше не увижу Аргайл-хаус. Тридцатого она покидала его навсегда. Сивилла подчеркивала, что хочет увидеться со мной наедине. Я была польщена и согласилась приехать, а во вторник утром Филдинг позвонила и напомнила, что ее светлость ждет меня ровно в 16:45.

Вечер выдался сырым и ветреным; листья вихрями кружились по тротуару Кингс-роуд, а меня не покидало ощущение хаоса и опустошенности. Ровно в 16:45 я в последний раз позвонила в дверь Аргайл-хауса, но открыла мне не Филдинг, а какой-то потрепанный тип в коричневом костюме, похожий на судебного пристава. Он был мрачен.

— Вы опоздали, — сказал он, покачав головой и открыв дверь лишь наполовину, словно не желая меня впускать.

— Но леди Коулфакс велела мне прийти без четверти пять, — ответила я.

Он слегка растерялся.

— Мне об этом ничего не известно, — сказал он, — но вам лучше пройти сюда.

И он повел меня не в гостиную, а в кладовую. Было странно оказаться в кладовой Аргайл-хауса — той самой, откуда столько раз выносили

аппетитные блюда. Кухонные столы были заставлены сервизами, связками ножей и вилок, грудой бокалов и фужеров — все с бирками. И тут я поняла, что имущество Сивиллы выставлено на продажу, а угрюмый тип — помощник аукциониста. Я стояла и оглядывалась, как вдруг из кухни выбежала Филдинг — по-прежнему в сером платье и муслиновом фартуке, но такая взволнованная и растерянная, что казалось, будто на ней вретище и пепел[46]. И в отчаянии она всплеснула руками.

— Я не знаю, где леди Коулфакс, — простонала она. — И не знаю, куда вас посадить. Люди всё еще здесь. Они должны были уйти в четыре, но они повсюду…

— Мне жаль, Филдинг, — сказала я. — Это очень грустно…

Слезы застилали ей глаза и текли по щекам; она стенала, размахивала руками и растерянно, словно не зная, куда идти, повела меня сначала в судомойню, а потом в столовую. Я опустилась на один из коричневых стульев в той некогда нарядной, праздничной комнате. В прошлый раз справа от меня сидел сэр Артур, а слева — Ноэль

---

[46] Примечания: 46

Вретище (одеяние из грубой шерсти) и пепел — библейский символ унижения, печали и покаяния.

Кауард. Теперь же повсюду висели бирки — на стульях, на стеклянных деревьях на каминной полке, на люстре и подсвечниках. По комнате бродил мужчина в черном пальто, крутя в руках то подсвечник, то портсигар, словно прикидывая их ценность. Затем бесшумно вошли две элегантные дамы. Одна из них протянула мне руку.

— Вы пришли посмотреть мебель? — прошептала она, будто мы на похоронах. Я узнала в ней Эву Бодли — миссис Ральф Уигрэм.

— Нет. Я пришла повидаться с Сивиллой, — ответила я.

Мне показалось, что на ее лице промелькнула зависть: я была подругой, а она — случайной посетительницей. Миссис Уигрэм отошла в сторону и принялась осматривать мебель. И вот, пока я сидела там, пытаясь думать о сэре Артуре и той доброте, которую он всегда проявлял ко мне, дверь приоткрылась. В проеме появилась Сивилла и молча поманила меня рукой, будто боялась показаться в собственной столовой. Я последовала за ней; она провела меня в гостиную и плотно закрыла дверь.

— Кто это был? — с тревогой спросила Сивилла.

— Миссис Уигрэм, — ответила я. Она заломила

руки.

— О, надеюсь, она меня не заметила, — пробормотала Сивилла. — Все должны были уйти в четыре, но они повсюду.

Гостиная, однако, была пуста, хотя на всех столах и стульях тоже висели бирки. Мы опустились рядышком на диван. Раньше я сравнивала Сивиллу с гроздью красных вишен на жесткой черной соломенной шляпке. Но теперь вишни побледнели. Выцвели. Поля черной шляпы обмякли от влаги. Она выглядела старой и больной, а по обеим сторонам от носа у нее пролегли глубокие морщины, будто вырезанные резцом. Мне стало ужасно жаль Сивиллу. Мы были как две женщины, уцелевшие в кораблекрушении и цеплявшиеся за плот. Всем ее вечеринкам пришел конец; мы сидели среди руин того великолепного сооружения, на вершине которого еще недавно сияла корона. Я положила свою голую ладонь на ее и почувствовала: «Вот это по-настоящему. Тут невозможно ошибиться».

Потом Филдинг принесла чай — такой, каким угощают на дорожку, с несколькими тонкими ломтиками хлеба с маслом и тремя дешевыми печеньками. Сивилла извинилась за чай:

— Какой ужасный чай!

Потом она начала сбивчиво говорить и рассказала об операции, о том, как врачи рекомендовали ей взять отпуск на шесть месяцев.

— Но я ведь не Грета Гарбо! — сказала Сивилла.

Потом она сообщила, что купила дом на Норт-стрит и собирается пожить у Кларков… Она всё время прерывалась и добавляла:

— Ох, давай не будем об этом.

Казалось, она хотела что-то сказать, но не могла. А ведь она сама пригласила меня поговорить наедине.

Наконец я произнесла:

— Мне очень жаль, Сивилла… — У нее навернулись слезы.

— Это было ужасно! Ты не представляешь, каково это, — начала она и тут же замолкла. Слезы так и не упали. — Понимаешь, я не из тех, кто может выразить чувства словами, — сказала она. — Я не умею откровенничать. Я ни с кем не говорила. А если бы и попыталась, то не смогла бы… Мне нужно двигаться дальше… — И она снова заговорила о покупке дома на Норт-стрит у какого-то безумца; о том, какой он был грязный, тот дом…

Внезапно дверь приоткрылась, и Филдинг поманила ее.

— Миссис Уигрэм хочет с вами поговорить, миледи, — сказала она.

Сивилла тяжело вздохнула, но встала и вышла.

В целом я восхищалась ею. Сидя на диване, я думала о том, какая же она смелая. Разве она не устроит званый ужин в тот же вечер — там, среди руин — столов и стульев, выставленных на продажу? Но вот она вернулась.

— Как же я ненавижу эту женщину! — выпалила Сивилла.

Принимаясь за хлеб с маслом, она рассказала, что миссис Уигрэм — обычная выскочка из тех, кто лезет напролом, и только что она подстроила ей подлость. Узнав, что Сивилла хочет купить дом на Норт-стрит, миссис Уигрэм рассказала об этом Литтонам, и те предложили за него свою цену. Но в итоге дом всё же достался Сивилле, причем на семьсот фунтов дешевле, чем она рассчитывала.

— Ох, давай не будем об этом, — осеклась она.

Я снова попыталась завязать разговор, сказав что-то банальное и неловкое о том, как трудно расставаться с домом и тому подобное. И снова на ее глазах выступили слезы.

— Да, — ответила Сивилла, оглядываясь по сторонам. — Я всегда обожала этот дом. Я была в

него влюблена, словно в человека…

Опять отворилась дверь.

— На проводе леди Мэри Чамли [леди Деламер], миледи, — сказала Филдинг.

— Скажи, что я занята, — раздраженно ответила она, и Филдинг ушла. — Кого она имела в виду? — спросила Сивилла. — Не знаю я никакой леди Мэри Чамли. Или… О господи, — вздохнула она, поднимаясь. — Пойду узнаю сама. Филдинг — наказание всей моей жизни, — снова вздохнула она. — То смеется, то плачет. Очки носить отказывается, хотя слепа, как летучая мышь. Придется самой во всем разобраться.

Сивилла снова меня оставила. Еще одна иллюзия рассеялась, подумала я. Старая служанка Филдинг, к которой Сивилла была глубоко привязана, всегда казалась мне настоящим сокровищем. Но нет: она то смеялась, то плакала и была слепа, как летучая мышь. Еще один украдкой брошенный взгляд на закулисье Аргайл-хауса.

Ожидая возвращения Сивиллы, я вспоминала былые времена, когда на том же диване сидела рядом с сэром Артуром, Арнольдом Беннеттом, Джорджем Муром, стариком Бирреллом и Максом Бирбомом. В этой комнате Ольга Линн с гневом швырнула ноты на пол, возмущенная

тем, что гости болтали во время ее выступления, а Сивилла тут же пересекла зал и подвела к ней лорда Бальфура, сиявшего добротой и достоинством, чтобы уладить конфликт… Но вот Сивилла вернулась и снова взялась за хлеб с маслом.

— О чем мы говорили, — спросила она, — прежде чем нас прервала Филдинг? И что мне с ней делать? — добавила она. — Я не могу ее уволить. Она с нами столько лет. Но она ужасна… Ладно, не будем об этом…

И снова я попыталась завязать доверительный разговор:

— Я вспоминала всех, с кем познакомилась в этом доме, — сказала я. — Арнольда Беннетта, Джорджа Мура, Макса Бирбома…

Она улыбнулась. И я поняла, что мои слова ее обрадовали.

— Вот именно этого мне и хотелось, — сказала Сивилла. — Чтобы те, кто мне дорог, встречались здесь друг с другом. В этом и была моя цель…

— И ты ее достигла, — сказала я с теплотой.

Я испытывала глубокую благодарность, хотя, по правде говоря, эти встречи редко приносили мне удовольствие. И тем не менее двери ее дома были всегда открыты. Она прикладывала огромные усилия и действительно многого добилась. Я

постаралась дать ей это понять:

— Мне всегда было так хорошо в этой гостиной, — сказала я. — Помнишь вечер, когда Ольга Линн в сердцах швырнула ноты? А мою встречу с Арнольдом Беннеттом? А с Генри Джеймсом… — тут я запнулась. Я ведь никогда не встречала Генри Джеймса в Аргайл-хаусе. Он бывал там задолго до меня. — Ты ведь знала его? — совершенно наивно спросила я.

— Знала Генри Джеймса?! — воскликнула Сивилла, и ее лицо просияло. Казалось, я задела за живое, а делать этого, пожалуй, не следовало, и она тут же снова стала прежней Сивиллой — хозяйкой салона. — Дорогой Генри Джеймс! Конечно, я его знала! Никогда не забуду, — начала она, — когда в Вене умер Уолкотт Балестье — он, знаешь ли, был шурином Редьярда Киплинга… — Тут снова открылась дверь, и показалась Филдинг — слепая, как летучая мышь, и наказание всей жизни Сивиллы.

— Машина подана, миледи, — сообщила она.

Сивилла повернулась ко мне и сказала:

— У меня скучная встреча на Маунт-стрит. Мне пора. Но я тебя подвезу.

Мы встали и вышли в холл. Парадная дверь была открыта. У ворот Сивиллу ожидал Rolls-Royce.

«Мы ведь прощаемся», — подумала я, на мгновение остановившись и в последний раз посмотрев на итальянские вазы и зеркала холла — все с бирками. Мне хотелось как-то выразить свое расставание с Аргайл-хаусом, но Сивилле было уже всё равно. Вишни снова налились соком, а соломенная шляпка высохла.

— Так вот, я рассказывала тебе, — продолжила она, — что, когда Уолкотт Балестье умер в Вене, Генри Джеймс пришел ко мне и сказал: «Дорогая Сивилла, эти две бедняжки оказались в Вене совсем одни с телом молодого человека, и я чувствую, что мой долг…» — К тому моменту мы уже шли по вымощенной дорожке к машине. — Маунт-стрит, — сказала Сивилла шоферу, садясь внутрь. — Так вот, — продолжила она, — Генри Джеймс сказал мне, что считает своим долгом поехать в Вену и хоть чем-то помочь этим двум убитым горем дамам…

Машина тронулась. Сивилла сидела рядом и пыталась впечатлить меня тем, что знала Генри Джеймса.

Аннотированный именной указатель

Асквит, Рэймонд Герберт (1878–1916) — барристер, сын премьер-министра Великобритании Г. Г. Асквита.

Асквит, Эмма Алиса Маргарет (Марго), леди Оксфорд (1864–1945) — светская львица, писательница, вторая жена премьер-министра Г. Г. Асквита, член аристократического интеллектуального объединения «Души» (The Souls).

Балестье, Чарльз Уолкотт (1861–1891) — американский писатель, редактор и издатель; шурин Редьярда Киплинга.

Бальфур, Артур Джеймс (1848–1930) — государственный деятель, премьер-министр Великобритании от консерваторов (1902–1905), министр иностранных дел (1916–1919).

Батлер, Генри Монтегю (1833–1918) — глава Тринити-колледжа Кембриджа с 1886 года и до самой смерти.

Белл, Артур Клайв Хьюард (1881–1964) — писатель, художественный критик.

Белл, Ванесса, в девичестве Стивен (1879–1961)

— художница и дизайнер, старшая сестра Вирджинии и наиболее важный (после Леонарда) человек в ее жизни; жена Клайва Белла.

Бидл, Джеймс Пэттл, генерал-майор (?–1902) — дальний родственник Джулии Стивен, художник исторических и батальных сцен.

Бирбом, Макс (1872–1956) — писатель, художник-карикатурист, книжный иллюстратор (96.)

Биррелл, Августин (1850–1933) — писатель, политик, главный секретарь по делам Ирландии в 1907–1916 годах.

Бланд-Литтон, Джудит Анна Доротея, баронесса Вентворт (1873–1957) — британская аристократка, правнучка поэта Джорджа Гордона Байрона.

Болдуин, Стэнли (1867–1947) — британский политик-консерватор, трижды премьер-министр Великобритании в 1923–1924, 1924–1929 и 1935–1937 годы.

Бофорт, герцог [Генри Хью Артур Фицрой Сомерсет] (1900–1984) — британский аристократ, светский лев, общепризнанный авторитет в вопросах скачек и охоты на лис. Бадминтон-хаус — родовое гнездо герцогов Бофортов в Глостершире.

Брук, Руперт (1887–1915) — поэт, автор идеалистических военных сонетов периода Первой

мировой войны.

Бут, Маргарет (Мэг) Паулина (1879–1960) — дочь Ч. Бута, британского предпринимателя, общественного деятеля, социального реформатора.

Вулстенхолм, Джозеф (1829–1891) — британский математик, близкий друг Лесли Стивена.

Гиббс, Фредерик Уэймут (1821–1898) — барристер и давний друг Лесли Стивена; еще ребенком попал в дом сэра Джеймса Стивена (1789–1859) в качестве компаньона старшего брата Лесли, Герберта (1822–1846).

Говард, Эсме Уильям, барон Пенритский (1863–1939) — британский дипломат.

Грант, Дункан (1885–1978) — шотландский художник, близкий друг Ванессы Белл и отец ее дочери Анжелики.

Гренвилл-Баркер, Харли (1877–1946) — драматург, актер, историк театра, теоретик и театральный режиссер.

Гренфелл, Этель Энн Присцилла, баронесса Десборо (1867–1952) — светская львица; двух ее сыновей, погибших в Первую мировую войну, Вулф упоминает в «Трех гинеях».

д'Эрлангер, Мари Роз Антуанетта Катрин (1874–1959) — жена богатого банкира барона Э. д'Эрлангера, покровительница искусств.

Дакворт, Герберт (1833–1870) — первый муж Джулии Стивен.

Дакворт, Джеральд (1870–1937) — младший единоутробный брат Вирджинии Вулф. В 1915 году в своем издательстве выпустил ее первый роман «По морю прочь».

Дакворт, Джордж Герберт (1868–1934) — госслужащий, выпускник Итона и Тринити-колледжа Кембриджа, старший единоутробный брат Вирджинии.

Дакворт, Стелла (1869–1897) — единоутробная сестра Вирджинии и единственная дочь ее матери от первого мужа. Стелла вышла замуж за Джона Уоллера Хиллза в 1897 году и через несколько месяцев умерла от перитонита.

Джексон, Генри (1839–1921) — ученый и писатель, профессор Кембриджа.

Джон, Огастес (1878–1961) — близкий французскому символизму живописец и график, яркий представитель богемы, модный светский портретист.

Джун, Сьюзен Элизабет Мэри, баронесса Сент-Элье (1845–1931) — старейшина Совета Лондонского графства, Вирджиния упоминает ее в «Трех гинеях» и ссылается на ее мемуары «Воспоминания за пятьдесят лет» (1909).

Дикинсон, Вайолет (1865–1948) — близкая подруга Вирджинии.

Дикинсон, Оззи (1868–1954) — младший из двух братьев Вайолет Дикинсон.

Додд, Фрэнсис (1874–1949) — британский художник-портретист.

Йейтс, Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский писатель, поэт и драматург.

Кавендиш-Бентинк, Генри (1863–1931) — британский политик-консерватор.

Карнарвон, Элизабет (Элси) (1856–1929) — мать леди Маргарет, жены Джорджа Дакворта.

Кауард, Ноэль Пирс (1899–1973) — английский драматург, актер и режиссер. Вулф познакомилась с ним в 1928 году на ужине у леди Коулфакс.

Кейнс, Джон Мейнард, барон (1883–1946) — экономист, близкий друг Вулфов.

Кейс, Джанет Элизабет (1863–1937) — историк античности, преподавательница греческого языка и защитница прав женщин. В течение нескольких лет преподавала греческий язык Вирджинии, став ее близкой подругой.

Кларк, Чарльз Бэрон (1832–1906) — ботаник, друг и современник Лесли Стивена в Кембридже.

Клиффорд, Люси (1846–1929) — писательница и жена британского математика Уильяма Кингдо-

на Клиффорда (1845–1879).

Клиффорд, Эдвард (1844–1907) — британский художник и писатель.

Коулфакс, Генри Артур (1866–1936) — британский юрист и политик Консервативной партии; муж Сивиллы Коулфакс.

Коулфакс, Сивилла Софи Джулия (1874–1950) — светская львица, «коллекционер интересных людей», которых она и ее муж сэр Артур развлекали в своем доме Аргайл-хаус в Челси.

Крофт, Августа (1860–1953) — старшая сестра Марни Воган, жена Роберта Крофта.

Кунард, Мод (Эмеральд) (1872–1948) — американка, вдова богатого британского баронета Б. Кунарда и мать Нэнси Кунард. Ее приглашения подразумевали признание социального, интеллектуального и художественного успеха.

Кэннан, Гилберт (1884–1955) — английский писатель и драматург.

Лашингтон, Кэтрин (Китти) (1867–1922) — дочь близких друзей Лесли Стивена, в 1890 году вышла замуж за Леопольда Макса (1864–1932).

Линн, Ольга (Огги) (1882–1961) — певица и преподавательница музыки.

Лэмб, Нина (1887–1952) — натурщица и жена Генри Лэмба.

Лэмб, Уолтер Ренджли Мейтланд (1882–1961) — сокурсник Леонарда Вулфа и Клайва Белла в Тринити-колледже Кембриджа. Секретарь Королевской академии художеств с 1913 по 1951 год.

Лэнг, Эндрю (1844–1912) — шотландский писатель, переводчик и этнограф.

Маккарти, Мэри (Молли) (1882–1953) — писательница, жена Дезмонда Маккарти.

Маккарти, Чарльз Отто Дезмонд (1877–1952) — писатель и литературный критик.

Макнил, Дорелия (1881–1969) — известная натурщица, гражданская жена Огастеса Джона.

Макс, Леопольд (1864–1932) — владелец и главный редактор консервативной газеты *The National Review*.

Марри, Джон Миддлтон (1889–1957) — писатель, журналист, редактор литературных журналов *The Rhythm, The Athenaeum, The Adelphi,* второй муж писательницы Кэтрин Мэнсфилд.

Маршалл, Виктор (1841–1928) — брат Джулии Маршалл.

Милле, Мэри (1860–1944) — вторая дочь художника Джона Эверетта Милле (1829–1896).

Морган, Пирпонт (1837–1913) — американский предприниматель, банкир и финансист; основатель Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке.

Морпет, Чарльз Говард, граф Карлайл (1867–1912) — британский политик, в юности обручился с Китти Лашингтон, после разрыва с ней в 1893 году сделал предложение Роде Анкаре.

Моррелл, Оттолин Вайолет Энн (1873–1938) — аристократка, одна из центральных фигур в группе «Блумсбери». Известная покровительница художников и писателей, хозяйка известного светского салона.

Моррелл, Филипп Эдвард (1870–1943) — либеральный политик, член парламента, муж леди Оттолин Вайолет Энн.

Моррис, Уильям (1834–1896) — влиятельный британский художник, дизайнер, поэт, теоретик искусства, социалист.

Мур, Джордж (1852–1933) — ирландский поэт, прозаик и художественный критик.

Мур, Джордж Эдвард (1873–1958) — философ, родоначальник аналитической философии, выпускник Тринити-колледжа, а впоследствии лектор нравственных дисциплин (1911–1925) и профессор философии Кембриджа.

Мурсом, Кеннет Джеймс Калверт (1878–1907) — клерк Палаты общин.

Мэллори, Джордж (1886–1924) — альпинист, участник трех британских экспедиций на Эве-

рест в середине 1920-х, погиб в последней.

Николс, Джон Бойер Бьюкенен (1859–1939) — британский поэт.

Николсон, Гарольд Джордж (1886–1968) — английский дипломат, политик, историк; муж Виты Сэквилл-Уэст.

Норман, Рональд Коллет (1873–1963) — банкир и политик; председатель Совета управляющих Би-би-си (1935–1939) и Совета Лондонского графства (1918–1919).

Попхэм, Мод Изабель (1858–1929) — младшая сестра Элизабет Карнарвон.

Принцеп, Генри Тоби (1793–1878) — чиновник индийской гражданской службы; историк Индии и политик.

Протеро, Джордж Уолтер (1848–1922) — британский историк, писатель и редактор журнала *The Quarterly Review*.

Рассел, Аделина Мари, герцогиня Бедфордская (1852–1920) — двоюродная сестра Джулии Стивен; сторонница реформы пенитенциарной системы.

Рассел, Конрад (1878–1947) — корреспондент известных светских красавиц своего времени, включая Диану Купер, Дафну Тинн и Дебору Кавендиш.

Рассел, Лора (1836–1910) — художница и жена

британского политика лорда Рассела; дальняя родственница матери Вирджинии.

Рассел, Флора Магдален Изабель (1869–1967) — британская аристократка.

Раттер, Фрэнсис Вейн Фипсон (1876–1937) — художественный критик.

Ревелсток, барон, Сесил Бэринг (1864–1934) — британский банкир и аристократ.

Ротенштейн, Уильям (Уилл) (1872–1945) — британский живописец, гравер и искусствовед.

Сарджент, Джон Сингер (1856–1925) — американский художник, один из известнейших портретистов эпохи.

Сидни-Тёрнер, Саксон Арнольд (1880–1962) — выпускник Кембриджа, госслужащий.

Сикерт, Уолтер Ричард (1860–1942) — видный живописец и гравер британского модернизма, преподаватель; учился у Уистлера, Дега. Писал городские зарисовки, мюзик-холлы, бытовые сцены.

Ситуэлл, Осберт (1892–1969) — писатель, поэт, сын эксцентричного сэра Джорджа Ситуэлла, писателя и политика.

Смит, Логан Пирсолл (1865–1946) — эссеист и критик американского происхождения, известный своими афоризмами и эпиграммами.

Смит, Реджинальд (1857–1916) — редактор *The Cornhill Magazine* с 1897 года; друг сэра Лесли Стивена, предыдущего редактора.

София [Фаррелл] (1861–1942) — кухарка Стивенов на Гайд-парк-гейт.

Стадд, Артур Хейторн (1863–1919) — игрок в крикет, художник и коллекционер произведений искусства.

Стивен, Джулиан Тоби (1880–1906) — брат Ванессы Белл, Вирджинии Вулф и Адриана Стивена.

Стивен, Джулия Принцеп (1846–1895) — мать Вирджинии Вулф, Ванессы Белл, Адриана и Тоби Стивенов.

Стивен, Лесли (1832–1904) — историк, писатель, критик, отец Вирджинии Вулф.

Стивен, Лора (1870–1945) — дочь Лесли Стивена и Гарриет Мариан Теккерей.

Стивен, Адриан Лесли (1883–1948) — младший брат Вирджинии, психоаналитик.

Стиллман, Лиза (1865–1946) — художница, дочь Уильяма Д. Стиллмана, журналиста и дипломата, падчерица художницы из группы прерафаэлитов Марии Спартали Стиллман.

Стрэйчи, Джайлс Литтон (1880–1932) — писатель, литературный критик.

Стрэйчи, Джон Сент-Лоу (1860–1927) — дво-

юродный брат Литтона, владелец и редактор еженедельника *The Spectator* с 1898 по 1925 год.

Стрэйчи, Джеймс Бомонт (1887–1967) — психоаналитик и (вместе со своей женой Аликс) переводчик полного собрания сочинений Зигмунда Фрейда на английский язык.

Сэнгер, Доротея (Дора) (1865–1955) — жена близкого друга Бертрана Рассела, барристера Ч. П. Сэнгера.

Сэндс, Этель (1873–1962) — художница и хозяйка знаменитого салона, который посещали ведущие деятели британской культуры начала XX века.

Тиндалл, Луиза Шарлотта (1845–1940) — жена и помощница ирландского физика Джона Тиндалла (1820–1893).

Тинн, Беатриса (1867–1941) — дочь маркиза Бата; сестра Кэти Кромер.

Тонкс, Генри (1862–1937) — британский художник, в прошлом врач-хирург, преподавал в школе Слейд, которую Ванесса посещала в 1904 году.

Тревельян, Чарльз Филипс, 3-й баронет (1870–1958) — английский политик Либеральной, а затем Лейбористской партии.

Уайтхед, Эвелин (1865–1961) — жена математика Альфреда Норта Уайтхеда.

Уигрэм, Эва (1895–1974) — жена госслужащего

Р. Уигрэма.

Уоттс, Джордж Фредерик (1817–1904) — живописец и скульптор викторианской эпохи.

Фишер, Мэри Луиза (1841–1916) — сестра матери В. Вулф, жена Г. Фишера, мать одиннадцати детей.

Флауэр, Э. Уикхэм — малоизвестная художница, которая давала Ванессе уроки истории искусств и водила ее по галереям.

Форстер, Эдвард Морган (1879–1970) — британский романист и эссеист.

Фредерик, Поллок, баронет (1845–1937) — юрист, друг Лесли Стивена.

Фурс, Чарльз Веллингтон (1868–1904) — британский художник, портретист.

Хант, Глэдис Холман (1876–1951) — дочь У. Х. Ханта.

Хант, Уильям Холман (1827–1910) — известный живописец-прерафаэлит.

Хант, Эдит Холман (1846–1931) — вторая жена У. Х. Ханта.

Хедлам, Уолтер Джордж (1866–1908) — британский ученый-антиковед и поэт.

Хиллз, Джон (Джек) Уоллер (1867–1938) — выпускник Итона и Оксфорда, солиситор, муж Стеллы Дакворт.

Хилтон Янг, барон Кеннет (1879–1960) — политик и писатель. Его семья и семья Вирджинии были дружны, после переезда юных Стивенов в Блумсбери часто бывал в их обществе. В 1909 году он сделал предложение Вирджинии.

Хилтон, Элис Аделиза Херви (1875–1962) — дочь маркиза Бристоля и жена лорда Д. Хилтона Джоллиффа.

Холдейн, Ричард Бердон, виконт (1856–1928) — шотландский юрист, философ, влиятельный политик.

Хоутри, Ральф Джордж (1879–1975) — экономист, выпускник Кембриджа и близкий друг Мейнарда Кейнса.

Чамли, Рут Мэри Кларисса, леди Деламер (1906–1986) — светская львица.

Чамли, Сивилла Рэйчел Бетти Сесиль (1894–1989) — британская светская львица, меценатка и офицер женской вспомогательной службы ВМС во время Второй мировой войны; сестра Ф. Сассуна, с которым Вирджиния познакомилась в 1929 году у леди Коулфакс.

Чемберлен, Джозеф Остин (1863–1937) — политик, сын Джозефа Чемберлена.

Шоу-Стюарт, Элис Эмма (1864–1962) — сестра Кэти Кромер и Беатрисы Тинн, близких подруг

Вирджинии и Вайолет Дикинсон. Замужем за Майклом Хью Шоу-Стюартом, шотландским политиком.